

Николай Лесков

Захудалый род



Николай Лесков
Захудалый род

«Public Domain»

1874

Лесков Н. С.

Захудалый род / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1874

Содержание

Старая княгиня и ее двор	5
Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	12
Глава четвертая	15
Глава пятая	17
Глава шестая	21
Глава седьмая	24
Глава восьмая	26
Глава девятая	30
Глава десятая	33
Глава одиннадцатая	36
Глава двенадцатая	40
Глава тринадцатая	42
Глава четырнадцатая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Николай Лесков Захудалый род Семейная хроника князей Протозановых (Из записок княжны В. Д. П.)

«Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает».
Екклз. 1, 4.

Старая княгиня и ее двор

Глава первая

Род наш один из самых древних родов на Руси: все Протозановы по прямой линии происходят от первых владетельных князей, и под родовым гербом нашим значит, что он нам не милостью дарован, а принадлежит «не по грамоте». В исторических рассказах о старой Руси встречается немало имен наших предков, и некоторые из них воспоминаются с большим одобрением. До Ивана Даниловича Калиты они имели свой удел, а потом, потеряв его, при Иване Третьем являются в числе почетных людей Московского княжества и остаются на видном положении до половины царствования Грозного. Затем над одним из них разразилась политическая невзгода, и, по обычаям того времени, за одного явились в ответ все: одни из Протозановых казнены, другие – биты и разосланы в разные места. С этой поры род князей Протозановых надолго исчезает со сцены, и только раз или два, и то вскользь, при Алексее Михайловиче упоминается в числе «захудалых», но в правление царевны Софии один из этого рода «захудалых князей», князь Леонтий Протозанов, опять пробился на вид и, получив в управление один из украинских городов, сделался «князем кормленным». Покормился он, впрочем, так неосторожно, что Петр Великий, доведавшись о способе его кормления, отрубил ему голову, а животы велел «поверстать на государя». При этом, однако, гнев государя не был перенесен с отца на детей, а напротив, старший сын казненного, Яков Леонтьевич, был взят для обучения его всем тогдашним наукам. Яков Львович (с этих пор имя Леонтий в роде Протозановых уступает место имени Лев) учился в России, потом за границу и по возвращении оттуда был проэкзаменован самим царем, который остался им очень доволен и оставил его при своей особе. Яков Львович оказался столь удобным для исполнения различных предначертаний Петровых, что государь отметил его своим особенным вниманием и повел его от чести к почести, не забывая при этом поправлять и его родовую «захудалость». Петр, однако, не сделал нашего прадеда богачом, а именно только вывел его из «захудалости». Сам же князь Яков Львович не умел вознаграждать себя: он, как говорили в то время, «заразился глупостью Лефорта», то есть пренебрегал способами к самовознаграждению, а потому и не разбогател. Такова была его жизнь до самого воцарения Анны Ивановны, когда Яков Львович попался на глаза Бирону, не понравился ему и вслед за тем быстро очутился в ссылке за Оренбургом.

В ссылке князь Яков Львович, по отеческому завету, обратился к *смирению*: он даже никогда не жаловался на «Немца», а весь погрузился в чтение религиозных книг, с которыми

не успел познакомиться в юности; вел жизнь созерцательную и строгую и прослыл мудрецом и праведником.

Князь Яков Львович в моих глазах прелестное лицо, открывающее собою ряд чистых и глубоко для меня симпатичных людей в нашем роде. Вся жизнь его светла, как кристалл, и поучительна, как сказание, а смерть его исполнена какой-то прелестной, умиряющей таинственности. Он умер без всяких мучений на светлый день Христова Воскресенья, после обедни, за которую сам читал Апостол. Возвратясь домой, он разговелся со всеми ссыльными и не ссыльными, которые пришли его поздравить, и потом сел читать положенное в этот день всепрощающее поучение Иоанна Богослова и, при окончании чтения, на последнем слове нагнулся к книге и *уснул*. Кончину его никак нельзя назвать смертью: это именно было успение, за которым пошел вечный сон праведника.

В тот же день к вечеру на имя ссыльного был доставлен пакет, возвещавший ему прощение и возвращение, дарованные волей воцарившейся императрицы Елисаветы: но все это уже опоздало. Князь Яков был разрешен небесною властью ото всех уз, которыми вязала его власть земная.

Прабабушка наша, Пелагея Николаевна, схоронив мужа, вернулась в Россию с одним пятнадцатилетним сыном, а моим прадедом, князем Левушкой.

Князь Левушка родился в ссылке и там же получил весь грунт своего начального воспитания непосредственно от своего отца, от которого в замечательной степени наследовал его превосходные качества. Вступив на службу в царствование Екатерины Второй, он не сделал себе блестящей карьеры, какую ему поначалу пророчили. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, говорила о нем, что «он, по тогдашнему времени, был не к масти козырь, презирал искательства и слишком любил добродетель». Лет в тридцать с небольшим князь Лев Яковлевич вышел в отставку, женился и навсегда засел в деревне над Окой и жил тихою помещичьею жизнью, занимаясь в стороне от света чтением, опытами над электричеством и записками, которые писал неустанно.

Старания этого «чудака» совсем устранить себя от двора и уйти как можно далее от света, с которым он не сошелся, увенчались для него полным успехом: о нем все позабыли, но в семье нашей он высоко чтим и предания о нем живы о сию пору.

Я с раннего моего детства имела о князе Льве Яковлевиче какое-то величественное, хотя чрезвычайно краткое представление. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, от которой я впервые услышала его имя, вспоминала своего свекра не иначе как с улыбкою совершеннейшего счастья, но никогда не говорила о нем много, это точно считалось святыней, которой нельзя раскрывать до обнажения.

В доме было так принято, что если как-нибудь в разговоре кто-нибудь случайно упоминал имя князя Льва Яковлевича, то все сию же минуту принимали самый серьезный вид и считали необходимым умолкнуть. Точно старались дать время пронестись звуку священного семейного имени, не сливая его ни с каким звуком иного житейского слова.

И вот тогда-то, в эти паузы, бабушка Варвара Никаноровна обыкновенно, бывало, всех обводила глазами, как бы благодаря взглядом за уважение к свекру и говорила:

– Да, чистый был человек, совершенно чистый! Он в случае не был и фавору не имел – его даже недолюбливали, но... его уважали.

И это всегда произносилось старою княгиней одинаково, с повторением, при котором она употребляла для усиления выразительности один и тот же жест.

– Он фавору не имел, – повторяла она, помахивая пред собою вытянутым указательным пальцем правой руки. – Нет, не имел; но... – Тут она круто оборачивала свой палец вниз и со строгим выражением в лице оканчивала, – но его уважали, и за то не терпели.

За этим опять шла минута молчания, после которой бабушка, понюхав щепотку табаку из жалованной Мариєю Феодоровной золотой табакерки, или заговаривала о чем-нибудь вседневном, или несколько пониженным тоном добавляла о свекре своим следующее:

– Он, покойник, ни с кем не ссорился... Нет, приятных императрице людей он не критиковал и грубости никому не оказывал, но ни с графом Валерианом, ни с князем Платоном домами знаком не был... Когда нужно было, когда так выходило, что они на куртагах встречались, он им кланялся... Понимаете... Как должно по этикету... для *courtoisie*¹ поклонится и отойдет; но руки не подавал и в дом не ездил. К разным бедным людям ездил и их у себя принимал, а к тем не ездил; это для них, может быть, ничего и не значило, а только он не ездил и так и в отставку вышел и в деревню удалился; так и умер, а всегда говорил: «для того, чтобы другие тебя уважали, прежде сам в себе человека уважай», и он в себе человека уважал, как немногие уважают.

Это говорилось уже давно: последний раз, что я слышала от бабушки эту тираду, было в сорок восьмом году, с небольшим за год до ее смерти, и я должна сказать, что, слушая тогда ее укоризненное замечание о том, что «так немногие в себе человека уважают», я, при всем моем тогдашнем младенчестве, понимала, что вижу пред собою одну из тех, которая умела себя уважать.

О ней теперь я и постараюсь записать, что сохранила моя память.

¹ Галантности, вежливости (*франц.*).

Глава вторая

Бабушка Варвара Никаноровна происходила из самого незнатного рода: она была «мелкая дворянка», по фамилии Честунова. Бабушка отнюдь не скрывала своего скромного происхождения, напротив, даже любила говорить, что она у своего отца с матерью в детстве индюшек стерегла, но при этом всегда объясняла, что «скромный род ее был хоть тихенький, но честный и фамилия Честуновы им не даром досталась, а приросла от народного прозвания».

Отец княгини Варвары Никаноровны был очень бедный помещик, убогие поля которого примыкали к межам князя Льва Яковлевича. Мать бабушкина была очень добрая женщина и большая хозяйка, прославившаяся необыкновенным умением делать яблочные зефирки, до которых жена князя Льва Яковлевича была страстная охотница. На этом княгиня и бедная дворянка заинтересовались друг другом и, встретясь в церкви, познакомились, а потом, благодаря деревенской скуке, скоро сошлись и, наконец, нежно подружились.

Князь Лев Яковлевич был этому чрезвычайно рад, но он находил невозможным, чтобы бедная дворянка бывала у его жены как будто какая-нибудь пришлая, не на равной ноге. «Через это люди не будут знать, как ее понимать», – рассудил он и тотчас же надел свой отставной полковничий мундир и регалии и отправился из своего Протозанова в деревню Дранку с визитом к бабушкиному отцу.

В бедных хибарах мелкого сошки все перепугались наезда такого важного гостя, сам старик Честунов едва решился вылезть к князю из боковуши в низенькую комнату, исправлявшую должность зальцы, но через какие-нибудь полчаса это все изменилось: неравенство исчезло, князь обласкал Честунова, обдарил прислугу и вернулся домой, привезя рядом с собой в коляске самого дворянина, а на коленях его пятилетнюю дочку, из которой потом вышла моя бабушка, княгиня Варвара Никаноровна Протозанова, некогда замечательная придворная красавица, пользовавшаяся всеобщим уважением и расположением императрицы Марии Феодоровны.

Честуновы сделались в доме прадеда своими людьми, а бабушка выросла и воспиталась в протозановском доме. Ее там чему-то учили, хотя я никогда не могла составить себе понятия о ее учености. Она без науки знала все, что ей нужно было знать, умела всякое дело поставить пред собой так, чтоб обнять его со всех сторон и уразуметь ясным пониманием его смысл и значение. Изучением же она знала, кажется, только Священное Писание да французский язык. Но зато что она знала, то знала в совершенстве и из Священного Писания любила приводить тексты, а по-французски говорила безукоризненно, но только в случае крайней в том необходимости.

У князя Льва Яковлевича было два сына: Димитрий и Лев. Из них Димитрий на девятнадцатом году утонул, купавшись в жару в холодном озере, отчего с ним в воде сделались судороги, а князь Лев Львович на восемнадцатом году влюбился в Варвару Никаноровну, которая, по ее собственным словам, в четырнадцать лет «была довольно авантажна». Другие же, например старые люди из прислуги княгини, дворецкий ее, Патрикей Семеныч, и горничная, Ольга Федотовна, выражались на этот счет гораздо решительнее; они говорили, что «неописанной красоте бабушки и меры не было». Это же как нельзя более подтверждает и висящий теперь предо мной ее большой портрет, работы известного Лампи. Портрет писан во весь рост, масляными красками, и представляет княгиню в то время, когда ей было всего двадцать лет. Княгиня представлена высокою стройною брюнеткой, с большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опущенная книзу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное движе-

ние. Глядя на этот портрет, я не могу себе представить, как пылкий и восторженный юноша, каким описывают моего покойного деда, мог не влюбиться в эту очаровательницу? Притом же он почти вырос с нею под одним кровом, он знал ее ум, доброту, благородство ее мыслей и ту утонченную деликатность, которая приковывала к ней всех, кто имел истинное счастье знать ее. К тому же эта прелестная девушка в самые ранние годы своей юности вдруг совсем осиротела и, оставаясь одна на всем свете, по самому своему положению внушала к себе сочувствие и как бы по повелению самой судьбы делалась естественным членом семьи призревших ее князей Протозановых. Старики Протозановы так на это и смотрели, и когда сын их Лев Львович, получив чин в гвардии, приехал из Петербурга на побывку домой с тем же пламенем любви к сиротке, с каким четыре года тому назад уехал, то они только обрадовались, что это чувство, выдержав испытание, остается прочным. А когда молодой князь решился просить их о позволении жениться на Честуновой, то они сказали ему, что лучшей себе невестки, а ему жены, и не предвидели. Тут же у них был отслужен благодарственный молебен, и затем их перевенчали и вскоре же, не успев нарадоваться их молодым счастьем, отпустили их в Петербург.

Года не прошло после этой свадьбы, как старики один вслед за другим сошли в могилу, оставив бабушку Варвару Никаноровну с ее мужем полными наследниками всего состояния, хотя не особенно богатого, но, однако, довольно их обеспечивающего.

Заботливостью полюбившей и взявшей Варвару Никаноровну под свое крыло императрицы средства Протозановых были вскоре сильно увеличены: дед получил в подарок майорат и населенные земли из старых отписных имений и стал богатым человеком. Им очень везло. Большое уже в это время состояние их вскоре еще увеличилось самым неожиданным образом: во-первых, к ним перешли по наследству обширные имения одного дальнего их родственника, некогда ограбившего их предков и не имевшего теперь, помимо деда, никаких других ближайших наследников, а во-вторых, в старом протозановском лесу за Озерною нашли драгоценный клад: маленькую пушку, набитую жемчугом и монетой и, вероятно, спрятанную кем-то в землю от разбойников.

Деда, любившего жить пышно, это очень обрадовало, но бабушка, к удивлению многих, приняла новое богатство, как Поликрат свой возвращенный морем перстень. Она как бы испугалась этого *счастья* и прямо сказала, что это одним людям сверх меры. Она имела предчувствие, что за слепым счастьем пойдут беды.

Однако шли года, никакое несчастье не приходило: дедушка служил очень удачно, детей у них было немного: один сын и дочь, княжна Настасья Львовна. Эту единственную свою дочь бабушка, в угождение императрице, но против своего желанья, должна была записать в институт, и это было для нее первым толчком горя в ее двери. Сын, нынешний дядя мой, князь Яков Львович, был гораздо моложе сестры и был прекрасный мальчик. Словом, все было хорошо, но во всем этом счастье и удачах бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя: ее мучили предчувствия, что вслед за всем этим невдалеке идет беда, в которой должна быть испытана ее сила и терпение. Предчувствие это, перешедшее у нее в какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло: одновременно с тем, как благополучным течением катилось ее для многих завидное житье, тем же течением наплывал на нее и Поликратов перстень. Против деда и жены его, взысканных всеми милостями рока, поднималась мелкая зависть, которая зорко следила за понижением уровня их значения и, наконец, дождалась времени, вполне благоприятного для того, чтобы с ними переведаться. Это созрело как раз пред открытием французской кампании, в которую дедушка вступил с своим полком и был замечательно несчастлив: в каком деле он ни участвовал, неприятель разбивал его самым роковым образом.

Бабушка, еще вращавшаяся тогда в высших кружках, чувствовала, что ее мужу изменяет фортуна, что он входит в немилость, и не стала лавировать и поправлять интригами

падающее положение, а, расставшись равнодушно со светом, уехала к себе в Протозаново с твердою решимостью не выезжать оттуда.

Обстоятельства так сложились, что это решение ее стало крепко.

Ольга Федотовна, живая хроника, из которой я черпаю многие сказания, касающиеся моего семейства, передавала мне об этом тягостнейшем периоде бабушкиной жизни следующее. Я запишу это словами ее же собственной речи, которую точно теперь слышу.

– Мы приехали-то, – говорила добрая старушка, – так тогда дом был совсем запущен. Лет десять ведь никто в него не заглядывал, он хоть и крепкий был, а все стал на вид упадать. Княгиня Варвара Никаноровна и говорят: «Надо поправить». Мастера и свои и чужие были – ради спешки вольных из Орла привезли. Княгиня все торопились, потому что словно она ждала какого последнего несчастья над дединойкой, и хотя сама в то время в тягостях была (ожидаемый ребенок был мой отец), но все ходила и настаивала, чтобы скорее дом был отделан. Сами мы все жили в трех комнатках, а для князя она все хотела, чтобы весь дом в параде был, и дума ее сиятельства была такая, что если его еще будет преследовать несчастье, то чтоб он нашел какой-нибудь способ объясниться с главнокомандующим или государю бы все от чистого сердца объяснил и вышел в отставку. Я это все знала, потому что княгиня ведь со мною, если у них было что на сердце тягостное, все говорили, и тогда, хотя я еще и молоденькая, даже против них девочка была, а они от меня не скрывали.

«Я, – говорит, – Ольга, так решила, что лишь бы он здоров сюда приехал, а то уж мы отсюда никуда не поедим. Так здесь и будем жить, как свекор с свекровью жили, а то они, эти не понимающие справедливости и воли божией люди, его замучат».

Я, разумеется, успокаивала их и отвечала:

«Да что вы, – говорю, – матушка, ваше сиятельство, об этом еще рано так много думаете; ведь это еще все, бог даст, может быть, совсем иначе пойдет, и князь, господь даст, такую победу одержат, что целое королевство возьмут».

А она меня перебивает:

«Молчи, – говорят, – Ольга, не говори вздора: я не напрасно беспокоюсь, а я это так чувствую. Господь мне так много счастья дал, какого я не стоила... ну что же; а теперь, – изволят говорить, – если ему меня испытать угодно, так сердце мое готово».

Я тут из усердия им глупое слово и скажи:

«За что же, – говорю, – он станет вас испытывать: разве вы кому зло какое-нибудь сделали?»

А они и рассердились:

«Ну, в таком разе, – говорят, – отойди лучше от меня прочь...»

«За что же, – говорю, – ваше сиятельство: вы меня простите!»

«Да бог тебя простит, – отвечают, – но только я не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стречника, и ты мне соблазн. Разве благая от Бога принимая, злого я не должна без ропота стерпеть? Нет; ты уйди скорее от меня: я лучше одна с моею покорностью хочу остаться!»

И прогнали меня с глаз, а сами, вижу, вошли в спальню и на *приедьо*² стали. А я, в обиду на себя, что княгиню так огорчила, прошла поскорее чрез девичью, чтобы прочие девушки меня не видали, потому что была расстроена, и выскочила, да и стала на ветерку, на крылечке. Этакое волнение на меня нашло, что плачу, точно вблизи самой себя что ужасное чувствую, а оно так и было. Всплакнула я раз-два и вдруг всего через одну короткую минуту времени отнимаю от глаз платочек, и предо мною, смотрю, за кладовыми, за углом, стоит Патрикей Семеныч и меня потихоньку рукою к себе манит. Я как его увидела, так и затрепетала всем телом своим и ноги у меня подкосились, потому что знала, что этого быть не

² *Prise-dieu (франц.)* – скамеечка для коленопоклонения при молитве

может, так как Патрикей Семеныч с князем находился. Откудова же это он мог сюда прямо с войны взяться? Верно, думаю, его там в сражении убили, он мне здесь как стена и является, и опять на него взглянула и вижу, что и он на меня смотрит: я вскрикнула и как стояла, так назад и повалилась, потому что все думаю, что это мертвец. Но он наместо того сейчас же ко мне подбежал, подхватил меня рукою и шепчет:

«Ах, что же такое, – говорит, – Ольга Федотовна, что же делать?.. полноте!»

А я... как это услышала, так сердце у меня как у зайца и забилося.

«Как, – говорю, – „что же делать“, а где князь?»

А он этак головою на грудь наклонил и отвечает:

«Не пугайтесь, – говорит, – князь приказал всем долго жить; а я один, – говорит, – с письмом его приехал, да вот уже часа четыре все за кладовыми хожу, вас из-за угла высматриваю: не выйдете ли, чтобы посоветоваться, как легче об этом княгине доложить».

Не знаю уж я, матушка, что б я ему на это сказала, потому что у меня от этих его слов решительно даже никакого последнего ума не стало, но только как мы это разговариваем, а наверху, слышу, над самыми нашими головами, окошко шибко распахнулось, и княгиня таким прихриплым голосом изволит говорить:

«Патрикей! чего ты там стоишь: иди ко мне сейчас!»

Я, это-то услышавши, ну, думаю: ну, теперь все пропало, потому что знаю, какая она в сердце огненная и как она князя любила, и опять этакая еще она молодая и неопытная, да и в тягости. Ну, думаю, кончено: все сразу собралось и аминь: послал ей Господь это такое испытание, что она его и не вынесет. И после этого я ни за что за Патрикеем вслед не хотела идти. Думаю: он все-таки сильный человек, мужчина, света много видел и перенести может, пусть как знает, так ей докладывает, а я не пойду, пока она вскрикнет и упадет, а тогда я и вбежу, и водой ее сбрызну, и платье отпущу. Но как Патрикей Семеныч на крыльце перекрестился и пошел, и я всю эту трусость с себя сбросила и не утерпела, постояла одну минуточку и тоже за ним побежала, думаю: ежели что с нею, с моею голубушкой, станется, так уж пусть при мне: вместе умрем.

Глава третья

Прибежала я в ее комнату с Патрикеем Семеновичем почти зараз: он только что вошел и у дверей у порога стал, а она идет от окна вся как плат бледная, я уже ясно вижу, что она, сердечная, все поняла. Подошла она молча к голубому помпадуру, что посередине комнаты стоял, толкнула его немножко ножкою в сторону и села как раз супротив Патрикеева лица.

Мне и Патрикея-то Семеныча смерть жаль, и ее-то жаль, и не знаю куда деться, просто, кажется, сквозь земь бы провалилась и мычусь как угорелая, сама не знаю, за что взяться. А княгиня посмотрела на меня и говорит:

«Перестань вертеться! что ты?»

Я говорю:

«Я, ваше сиятельство, ваш ридикюль ищу».

А она мне ни слова больше, а только махнула головкою: дескать, стань на место. Я скорее за помпадур и юркнула и, чтобы мне не видать Патрикеева лица, гляжу ей в темя, а она вдруг изволит к Патрикею Семенычу обращаться:

«Ну, – приказывает, – говори, как все дело было?»

Тут самая жуткость настала. Патрикей Семеныч, как и со мною у них было, головою понурил, и губа у него одна по другой хлябает, а никакой молви нет. А княгиня, сколь ей, вижу, ни тяжело, подняла на него все лицо и говорит:

«Ну что же это, Патрикей! сговорились вы, что ли, все меня нынче с ума свести? Говори все, я тебе приказываю!»

Патрикей вскрикнул:

«Матушка! я не могу», – да в ноги ей и грохнулся, и от полу лица не поднимает.

В комнате-то этакий свет вечерний, солнце садится, вбок все красным обливает, а у меня даже в глазах стало темно, и вижу, что княгиня как не своею силой с помпадура встала, и к самой голове Патрикея Семеныча подошла, и говорит:

«Патрикей! я этого не люблю: ты с чем пришел, то должен сделать. Жив князь?»

А Патрикей Семеныч, не поднимая лица от пола, ей отвечает:

«Нет, ваше сиятельство, князя нашего нет в живых».

Она брови наморщила и за сердце рукой взялась. Я ей сейчас воды, – хлебнула и назад подала, а сама спрашивает:

«Своею смертью окончил или бедой какой?»

Патрикей отвечает:

«В сражении убит».

Княгиня оглянулась на образ, перекрестилась и опять села в помпадур, потому что ноги ей, видно, плохо служили, и велела Патрикею все в соблюдении мелко рассказывать.

Ну, тогда Патрикей, видя, что она в себе уже такую силу выдержала, встал и начал смелее, и такой его рассказ был:

– Несчастье, – говорит, – их сиятельство преследовало ужасное: куда они ни вступят – все поражение да поражение, и письма они стали получать из Петербурга ужасные. Прочитают, бывало, волосы на себе рвут, так что даже смотреть на них страшно; а потом даже вовсе этих писем распечатывать не стали. Как почта получится, они ваши письма отберут, прочитают и к себе на грудь к сердцу положат, а те мне приказывают все в огонь бросать. Так месяца два шло, а в счастье никакой перемены нет, и вдруг один раз приходит к ним в палатку адъютант, расстроенный, весь бледный, и говорит им что-то по-французски, робко и несмело, а должно быть, самое неприятное.

А князь весь даже побагровел да вдруг как крикнет на него по-русски:

«Как вы смели мне это передать!»

Тот ему отвечает:

«Простите, – говорит, – ваше сиятельство, я это, ей-богу, из преданности... потому, – говорит, – это все говорят, и я, – говорит, – опасаюсь, чтобы в неосторожную минуту свои офицеры против вас...»

Но князь не дал ему это кончить и опять как крикнет:

«К черту, – говорит, – убирайтесь от меня с этакою вашею преданностью и товарищам вашим то же самое от меня скажите; а если кто думает, что я изменник, тот пусть завтра от меня не отстает, а кто отстанет – тот клеветник и подлец».

И так он рассердился, что ни на что не похож был, и не разделся, и в кровать не лег, а все в шинели по палатке всю ночь проходил и черный кофе пил. В три часа ночи приказ дал солдатам коней седлать и чтобы тихо так, чтобы ничего не слышно было, потому что неприятель у нас совсем в виду за балкой стоял. Пока люди седлают, а я ему умываться подаю, а он все велит себе воду с ледком на голову лить, а сам все ее ловит горстями; глотает, и сам молитву «Живый в помощи» читает – молится, а вид у него совершенно потерянный. Начали они в боевое платье одеваться, а я им помогаю: берусь им саблю подвязывать, да вдруг хлоп... наземь ее и уронил.

Знаю, в другое время они бы за это грозно рассердились и ужасно бы что могли сделать, а тут только вздрогнули и говорят:

«Ах, Патрикей, что ты сделал».

Я, говорит, шепчу:

«Виноват, ваше сиятельство».

А он отвечает:

«Нет, это не ты виноват, а это злая рука у тебя из рук вышибла. Прощай же, – говорит, – чувствую, что я нынче своей головы из битвы не вынесу».

Патрикей Семеныч заплакал и говорит:

«Что вы, ваше сиятельство, Бог милостив».

А он отвечает:

– То-то и есть, что он милостив: он брани не любит и взявшего меч мечом наказует, но я упрямый человек – мне легче умереть, чем бесчестье переносить, а ты, если меня убьют, возьми это письмо и ступай к княгине: тут все писано, а что после писаного станется, про то ты сам скажешь.

Патрикей им и осмелился доложить, что я, говорит, ваше сиятельство, лучше со света сбегу, а не буду этого княгине докладывать, потому как они этого не вынесут.

А князь им тут же напоследях «дурака» сказали и говорят:

«Тебе или мне больше дано мою княгиню знать? Не смей рассуждать, что она вынесет, а исполняй, что тебе приказываю», – и с этим из палатки выходить стал.

А Патрикей, видя, что он это все как предсмертное приказание ему передает, догнал и спрашивает:

«А что же, ваше сиятельство, если так, то детям какое накажете благословение?»

Князь остановился, но потом только рукой махнул:

«Бог их, – говорит, – благословит, а все, что им нужно, мать преподаст».

Патрикей же вдруг в досталь стал все спрашивать:

«Батюшка, ваше сиятельство, простите мое слово: княгинюшка молода, мысли их будут в божьей власти: они могут ранним вдовством отяготиться и пожелать замуж выйти».

Так от этого слова князь, говорит, даже весь в лице потемнел, но тихо ответил:

«Все равно она детей не забудет, я в ней уверен». И с этим, говорит, ногу в стремя поставил, поцеловал, нагнувшись с коня, Патрикея и сказал ему: «Поцелуй руку у княгини», и с тем повел полк в атаку и, по предсказанию своему, живой с поля не возвратился.

Зарубились они в рать неприятельскую в самую средину и всё кричали: «Все за мной, все за мной!», но только мало было в этом случае смелых охотников за ним следовать, кроме одного трубача! Тот один изо всех и видел, как дед бился, пока его самого на части изрубили. Жестоко израненный трубач выскочил и привез с собой князеву голову, которую Патрикей обмыл, уложил в дорожный берестяной туес и схоронил в глубокой ямке, под заметным крушинным кустом.

Как Патрикей кончил это печальное сказание, так бабушка, по словам Ольги Федотовны, встала и позвала его к своей руке, как то ему завещал покойный князь, и затем сама его в голову поцеловала и сквозь глубоких и обильных слез выговорила:

– Благодарю, и ценю, и по гроб не забуду, – и с этим вышла в образную.

Глава четвертая

Не было с княгиней Варварой Никаноровной ни обморока, ни истерики, а на другой день она велела служить в своей церкви по муже заупокойную обедню, к которой приказала быть всем крестьянам ближних сел, их старостам, бурмистрам и управителю. Ольга Федотовна рассказывала, что бабушка, стоя за обеднею у клироса, даже мало плакала. Она, вероятно, успела вдоволь выплакаться, оставаясь всю ночь в своей образной, и теперь не хотела, чтоб ее видел кто-нибудь слабою и слезливою. Она даже не раз обращала внимание ктитора на подтаивавшие мелкие свечи желтого воска, которые ставили к кануну за упокой князя крестьяне, а потом сама после панихиды скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно с нее в ротик сына, которого держала на руках нянька, одетая в черное траурное платье.

После обедни, по обычаю, был стол духовенству, за которым обедал и управитель, а крестьянам были накрыты особые большие столы на дворе, и все помянули князя по предковскому обычаю и подивились тоже предковской силе духа молодой княгини.

Однако молчаливая, но терзающая скорбь, вероятно, так тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оставаться с нею сам-на-сам: бабушка берегла свою *отвагу*, свою душевную бодрость.

Средством для этого она избрала едва ли не самое лучшее из всех средств – именно усиленную деятельность. Тотчас же после поминовения усопшего бабушка принялась самым энергическим образом за распорядки, в которых, нимало друг другу не мешая, шли и хозяйственные мероприятия и планы, и заботы о памяти мужа и об очистке всех его нравственных долгов.

Во-первых, тотчас же после заупокойного обеда в ее комнату прямо из-за стола был позван Патрикей. Бабушка встретила его опять повторением выраженных ему вчера благодарностей за службу деду, а потом подала ему составленную ею отпускную и подарила из своего отцовского наследия пустынку в тридцать десятин за речкою Дранкою.

Преданный Патрикей возроптал против этого и стал энергически отказываться, но бабушка принудила его молчать, сказав, что все это нужно для нее, так как «неблагодарность тягчит сердце человека».

Вслед за сим она приказала тому же Патрикею, отдохнув, немедленно ехать засвидетельствовать эту вольную и потом во что бы то ни стало, где он хочет, разыскать и привезти ей трубача, разделявшего с дедом опасность в его последнем бою. А сама взялась за хозяйство: она потребовала из конторы все счета и отчеты и беспрестанно призывала старост и бурмистров – во все входила, обо всем осведомилась и всем показала, что у нее и в тяжелой горести недреманное око.

– Мать, – говорили крестьяне, – горе горюет, а детское добро бережет.

Меж тем отъехавшему Патрикею предстояла нелегкая задача отыскать израненного солдата, путь которого, за выходом его в отставку, был бабушкиному послу неизвестен. К тому же Патрикей, который недаром пользовался доверием князя и княгини, потому что он был умен, находчив и сообразителен, здесь на первых же шагах обличил совсем не свойственное ему крайнее легкомыслие и ветреность. На другой же день после его отъезда лакей-чонки, начав убирать переднюю, нашли в ящике, в столе, тщательно обернутую бумагу, по рассмотрении которой конторщиком она оказалась Патрикеевой вольною. Он должен был захватить ее с собою и завезти в палату, а между тем... бросил, как «дар напрасный, дар случайный».

Когда эту вольную представили княгине, она только улыбнулась и сказала:

– Этот человек истинный друг мне, – и тотчас же велела конторщику ехать засвидетельствовать отпускную и потом положить ее опять в то же самое место, где ее оставил Патрикей, и никогда ему об этом не сказывать. Все это так и было исполнено.

Эта историческая для нас вольноотпускная Патрикея Семеныча Сударичева, хранящаяся нынче в семейном архиве дяди, князя Якова Львовича, так и пролежала близ сорока лет в ящичке, куда положил ее Патрикей и откуда никогда не хотел ее вынуть.

Меж тем прошло около трех месяцев, о самом княгинином после не было ни слуху ни духу, и вдруг он возвратился, и не один, а с кем ему было сказано.

Глава пятая

Ольга Федотовна, доходя в своих рассказах до этого события, всегда впадала в какой-то смешанный трагикомический тон повествования. Трагическое тут всегда принадлежало бабушке, а комическое – трубачу, которого месяца через три после своего отъезда привез Патрикей Семеныч. Я запишу этот рассказ так, как его слышала из уст самой пестуны бабушкиной старости и моего детства.

– Бабинька-то тут все еще продолжала задавать себе труд за трудом, – начинала, бывало, Ольга Федотовна. – Труд за трудом, голубушка моя, так на себя и хватала, так и захвывала на свои молодые ручки, чтоб они у нее поскорее уставали, так время и прошло. Со смерти князя-то шел уже седьмой месяц, а ее тягости девятый исполнялся. В эту-то пору, в самую весеннюю ростепель, Патрикей Семеныч с трубачом и воротился. По правде сказать: было кого столько времени по всему свету искать... И привез-то его Патрикей Семеныч из-под Грайворона, и сам-то он назывался Грайворона, и все, что он, бывало, ни сделает, изо всего у него выходила одна грайворона. Был он из хохлов – солдатище этакой, как верблюд огромный и нескладный, как большое корыто, в каких прачки за большую стиркою белье синят, и вдобавок был весь синеватый, изрубленный; по всему лицу у него крест-накрест страшные шрамы перекрещивались, а одна бакенбарда совсем на особом на отрубленном куске росла, и не знать, как она у него при роже и держалась. Словом, такой красавец, что без привычки смотреть на него было страшно, или, лучше того сказать, можно было его по ярмаркам возить да за деньги по грошу показывать.

Княгиня его сейчас к себе потребовала и долго молча на эти его рубцы и шрамы, что по всему лицу шли, смотрела, точно сосчитать их хотела: сколько он, талагай, их в смертном бою за дединьку получил, а потом тихо его спрашивают:

«Как тебя звать?»

«Петро Грайворона, – говорит, – ваше сыятелство!» – и все это таким густым басом, что как из бочки содит.

Княгиня и продолжают:

«Ты из хохлов, что ли?»

«Точно так, – говорит, – ваше сыятелство: я из хохлов».

«Что же ты... за что ты особенно моего мужа любил?»

«Никак нет, – говорит, – ваше сыятелство, в особину не любил».

– Этакий дурак, – хохлище безмозглый был! – обыкновенно смеясь восклицала, бывало, прерывая рассказ, Ольга Федотовна, – в службе был, а решительно никакой политики не мог сохранить, что кстати, что некстати, все, бывало, как думает, так и ляпнет!

Княгиня изволят продолжать:

«Как же так, если ты, – говорят, – особенно его не любил, то почему же ты его в очевидной смерти не бросил, когда от него все отстали?»

«Командир, – говорит, – ваше сыятелство: командира нельзя бросить, на то крест целовал».

Ну и вот грубость да откровенность его эта княгине понравилась: она ему тут головкой кивнула и ласково говорит:

«А-а, так вот ты какой! Это хорошо, честно».

А он вкратце ей по-своему отвечает:

«Точно так, ваше сыятелство!» – и что раз ответит, выкрикнет, то еще больше в струну по-полковому вытягивается, так что даже нога об ногу кожаной подшивкой на панталонах скрипит.

Княгиня изволят его благодарить.

«Ну, во всяком разе, – говорят, – ты добрый человек, что ко мне приехал».

«Никак нет, – отвечает, – я ослушаться не смел».

«Почему же ты меня не смел ослушаться?»

«Вы командирша, – говорит, – ваше сыятелство».

«А-а, – отвечает княгиня, – это хорошо! – и сами улыбаются, – ты, значит, теперь после мужа ко мне под команду поступаешь?»

«Точно так, ваше сыятелство».

«Ну так отвечай же своей командирше: много ли у тебя какого роду-племени?»

«Никого, – говорит, – у меня не осталось ни роду, ни племени: я за сиротство и в солдаты отдан».

«Ну, назови мне добрых людей, которым бы ты за их добродетель чем-нибудь пособить хотел».

«Никогда, – говорит, – я добрых людей, ваше сыятелство, не бачивал».

Княгиня удивилась и говорят:

«Как: неужто ты во всю жизнь ни одного доброго человека не видал?»

«Точно так, – говорит, – еще никогда ни одного не видал».

«Неужели же, – говорят, – у тебя и в полку любимого товарища не было?»

«Никак нет, – отвечает, – ни одного не было: меня в полку все „хохлому“ дразнили».

«Ну так хохлы-то твои, верно, тебя в деревне любили?»

«Никак нет, ваше сыятелство, – они меня, как я вернулся, стали „москалем“ звать и выгнали».

«Куда же они тебя и за что выгнали?»

«Так, сказали: ступай вон, чтоб у нас здесь твоего московского духу не было».

«Ну а кто же тебя принял?»

«Слепой Игнат принял».

«Ну так, стало быть, этот слепой Игнат был добрый человек?»

«Никак нет, ваше сыятелство, – он самый подлюга и есть: он меня пьяным напоил да хотел мне кипятком глаза выварить, чтобы вдвоем слепые петъ станем, так больше подавать будут. Один господь спас, что я на ту пору проснулся, так и побил его».

Княгиня даже задумалась и потом говорят:

«Экой ты какой... ничего с тобой не сообразишь!» – и, обратясь к Патрикею Семенычу, изволили приказать, чтоб отдать их именем управителю приказание послать за этого Грайворону в его село на бедных пятьсот рублей, а в церковь, где он крещен, заказать серебряное паникадило в два пуда весу, с большим яблоком, и чтобы по этому яблоку видная надпись шла, что оно от солдата Петра Грайворона, который до смертного часа не покинул в сечи командира своего князя Льва Протозанова. «Это я, – говорят, – так хочу, чтобы в селе помнили, что под сею паникадилою был крещен честный человек, а что русские князья доблесть чествуют».

А солдатище-то, это услышавши, весь просиял: стоит и зубы скалит. Так ему весело, что он и всю субординацию свою, дурак, позабыл: корчится от смеха и приседает да ручищами в колени хватается.

И княгиня, глядя на него, что он так киснет со смеху, и сами рассмеялись и говорят:

«Чего же ты смеешься? Верно, тебе это не нравится?»

А он отвечает:

«Это, – говорит, – ваше сыятелство, очень что прекрасно, потому что им от этого никогда в нос неучкнет, что этот паникадил для меня гореть будет, а не для праздника».

Ну тут уж и я рассмеялась, и даже Патрикей Семеныч, на что был человек серьезный, так и он тоже на грудь лицо опустил и улыбнулся. А княгиня, разумеется, изо всего этого

ясно усмотрела, что она такое есть эта Грайворона, и сейчас вышли на минуту с Патрикеем в другую комнату и спрашивают:

«Что он, кажется, пьющий?»

Патрикей отвечает:

«Очень, – говорит, – ваше сиятельство, пьющий».

Княгиня пожалела.

«Экая, – изволила сказать, – жалость! Нам, я вижу, никак нельзя его навек устроить, его надо у нас дома сберечь».

Патрикей отвечает:

«Это как вашему сиятельству будет угодно».

А княгиня вышли опять в зал и говорят Грайвороне:

«Ну, слушай команду».

«Рад, – говорит, – стараться».

«Я тебе приказываю оставаться у меня».

«Рад стараться!»

«Будешь жить на всем на готовом».

«Рад стараться!»

«И платье, – говорят, – и обувь, и пищу дам, и хозяйство устрою, и по три рубля денег в месяц на табак будешь получать, – только осторожней кури и трубку куда попало с огнем не суй, а то деревню сожжешь».

Она это ему причитает, а он, точно индюк на посвист, орет: «рад стараться!»

«А водки, – княгиня спрашивает, – сколько ты любишь употреблять?»

«Не могу знать, – говорит, – ваше сиятельство. Я ее еще досыта никогда не пил».

«Ну так тебе от меня положение будет три стакана в день пить; довольно это?»

«Не могу знать, ваше сиятельство, а только я три стакана всегда могу пить».

«Ну и на здоровье».

«Всегда здоров буду, ваше сиятельство».

Княгиня опять на него посмотрела и сказала: «Экой какой», и отпустили его и сейчас же взяли все свои на его счет обещания исполнять.

В церковь его паникадил был заказан, в село бедным деньги посланы, да и еще слепому тому злему в особину на его долю десять рублей накинуто, чтобы добрей был, а Грайворону тут дома мало чуть не однодворцем посадили: дали ему и избу со светелкой, и корову, и овец с бараном, и свинью, и мясину, а водка ему всякий день из конторы в бутылке отпускалась, потому что на весь месяц нельзя было давать: всю сразу выпивал. Но все эти заботы о нем он ни во что обращал: бутылки этой, от княгини положенной, ему мало было, и он все, что мог, от себя в казенное село в кабак тащил, но во хмелю был очень смирный. Придет, бывало, домой, у своей пустой избы на порожке сядет и сидит, только как сыч глаза выпялит и водит ими, а ничего не видит. Скажут ему:

«Гляди ты, чудак, до чего ты допился: ведь у тебя уже в глазах и свету нет».

А он чуть внятно проворочает:

«А на что мне, – говорит, – в глазах свет, когда за меня паникадило светит», – и с тем копырнется и тут же и спит на пороге.

Как о нем ни заботились, чтоб отучить его от этой слабости, и Патрикей Семеныч и сама княгиня, ничего ему не помогало. Княгиня вдобавок к прежней о нем заботе стала говорить:

«Он, может быть, скучает; не женить ли его на какой доброй женщине, чтоб его берегла?»

Так он отвечал:

«Никак нет, ваше сиятельство: я к семейству неспособен. Я в себе кавалерский характер имею и всякой женщине очень скоро наскучить могу».

Ну, одним словом, никуда, болван, не годился!

Но княгиня ведь уж была такая, что если она за которого человека возьмется, чтоб его спасти, то уже тут что про него кто ей ни говори и что он сам ей худого ни сделай, она его ни за что не бросит. Так было и с этой, прости меня господи, с Грайвороной: что он, нелепый, ей ни досаждал, она все терпела и виду не показывала, что надокучил. На пьяных людей была первая ненавистница, и во всех имениях у нас это знали, и никто мало-мальски выпивши носу на улицу не смел показать, а Грайворона, бывало, идет, шатается, солдатская шапка блином на затылке, руки безобразно в карманы засунет и весь расхрыстанный. Тьфу, даже смотреть мерзко, а она, взглянув на него, только жалостно поморщится и скажет Патрикею:

«Уберите его, несчастного!»

За то же и он ее, голубушку, чуть шутя со света не убрал.

Глава шестая

– Обстоятельство это было такое смешное, да не мало и страшное, – продолжала Ольга Федотовна, – а заключалось оно в том, что, храни бог, если бы тогда бабиньку господь не помиловал, так и тебя бы на свете не было, потому что это все произошло при рождении твоего отца, князя Дмитрия, всего на второй день. Бабинька лежала тогда в своей спальне, в нижнем этаже, окна в сад темно-зеленой тафтой завешены. Мы сидим – я да вторая надо мною была горничная Феклуша, – такую тишину блюдем, что даже дыхание утаиваем, а Грайворона напился пьян и, набивши порохом старый мушкет, подкрался под княгинины окна и выпалил. Сделал он это в тех целях, «чтобы, говорит, командирова новорожденного сына как должно по военному артикулу поздравить». Но так с пьяных-то глаз с излишком пороху переложил, что весь мушкет у него в руках разлетелся и ему самому всю рожу опалило и большой палец на руке оторвало. Этак он самого себя поздравил, а с княгиней от страшного перепуга долгий обморок сделался, потом же, как в себя изволили прийти, сейчас спрашивают:

«Что это такое было? чего я испугалась?»

Я говорю:

«Ничего, матушка, все, слава богу, цело и хорошо».

«Да что же такое именно?»

«Что же, – говорю, – кроме как Грайвороны глупости», – и рассказываю ей, что этот талагай сделал и с каким намерением.

А княгиня мне отвечает:

«А вот видишь, – говорят, – вы всё меня уверяете, что он глуп. Вы все на него нападаете, а он верный человек. Прикажи, – говорят, – ему сейчас от меня стакан вина поднести и поблагодарить».

Все бы это тем и кончилось, но тут я-то вышла приказанье исполнить, а эта, вторая-то горничная, начала княгине на ее вопросы отвечать, да и брякнула, что Грайвороне мушкет палец оторвал и лицо опалил.

Княгиня растревожилась:

«Ах он, бедный, – говорит, – отвезти его сейчас к лекарю, чтобы помог».

Однако к лекарю Грайворону не посылали, потому что он, проспавшись, ни за что о том слышать не хотел.

«Если я ее сыятелству моим усердием, – говорит, – потрафил, так прочее всё пустяки», – и, недолго думая, взял овечьи ножницы да сам себе палец оторванный совсем прочь и отстригнул.

«А насчет рожи, что опалил, – говорит, – это совсем не замечательно: она, почитай, такая и была; опух, – говорит, – сам пройдет, а тогда она опять вся на своем месте станет».

И она у него, эта его рожа страшная, точно, сама зажила, только, припалившись еще немножечко, будто почернее стала, но пить он не перестал, а только все осведомлялся, когда княгиня встанет, и как узнал, что бабинька велела на балкон в голубой гостиной двери отворить, то он под этот день немножко вытрезвился и в печи мылся. А как княгиня сели на балконе в кресло, чтобы воздухом подышать, он прополз в большой сиреневый куст и оттуда, из самой середины, начал их, как перепел, кликать.

«Ваше сыятелство! а ваше сыятелство!»

Княгиня его голос сейчас узнала и говорит:

«Это ты, бедный Грайворона?»

«Точно так, – говорит, – ваше сыятелство, я-с!»

«Где же ты спрятан?»

«Я, ваше сиятельство, здесь, в середине, в кусте сижу».

«Явись же сюда ко мне наружу!»

«Никак нельзя, ваше сиятельство; я не в порядке».

«Чем же ты не в порядке?»

«Рожа у меня, ваше сиятельство, очень поганая».

«Рожа поганая? Ну что делать: выходи, я не пуглива».

Он и вылез... Прелести сказать, как был хорош! Сирень-то о ту пору густо цвела, и молодые эти лиловые букетики ему всю голову облепили и за ушами и в волосах везде торчат... Точно волшебный Фавна, что на картинах пишут.

Княгиня поглядела на него и говорят:

«Что ты, бедный: верно, все пьешь?»

«Точно так, – говорит, – ваше сиятельство, – пью».

«Зачем же ты не остановишься?»

«Да помилуйте, – отвечает, – когда мне уже мочи нет – жить очень хорошо. Велите мне какую-нибудь работу работать».

Княгиня его за это одобрили; но ничего ему это не помогло. Никуда не способный был человек, не тем он будь, покойничек, помянут. К разным его княгиня должностям определяли, ни одной он не мог за пьянством исполнить. В десятники его ставили, он было всех баб перебил; в конюшни определили, так как это в кавалерии соответственнее, он под лошадь попал, только, слава богу, под смирную: она так над ним всю ночь не двинулась и простояла; тогда его от этой опасности в огуменные старосты назначили, но тут он сделал княгине страшные убытки: весь скирдник, на многие тысячи хлеба, трубкой сжег. И после этого как проспался да все это понял, что наделал, так пошел с горя в казенное село, на ярмарку, да там совсем и замутился: отлепил от иконы свечку в церкви и начал при всех за обеднею трубку закуривать. Его мужики начали выводить, да и помяли. Привез его к нам на телеге один тоже чудаков дворянин, Дон-Кихот Рогожонич звался, только, покойник, уже плох был и вздохнуть не мог. Княгиня ему послали бутылку нашатырного спирту, чтоб он хорошенько вытерся, а вдруг ей докладывают, что ему от этого еще хуже стало. Княгиня сами к нему пошли, а уже у него и голосу нет: все губы почернели, а изо рта нашатырь дышит.

Княгиня вдруг ударила себя пальчиком в лоб и говорят мне:

«Ах, Ольга, какие мы с тобою дуры: ведь это он, верно, нашатырь внутрь выпил».

Спрашивают его:

«Скажи мне, Грайворона, как ты моим лекарством вытерся?»

А он ей просипел, что как надо, говорит, сделал – все из бутылочки выпил, а бутылочкой себя по всем местам вытер.

Значит, и снутри и снаружи себя обошел... Ну, что же тут было делать? Послали скорее за доктором, а только он его ждать не захотел и к другому утру кончился, и кончился-с так, как бы и всякий ему позавидовал: на собственных на княгининых ручках богу душу отдал. И даже как это немножко не в ожиданности вдруг пристигло, так сама же княгиня ему отходную прочитала и своими руками глаза завела. Вот какой от хорошей жены и пустому человеку за мужа почет был! – добавляла Ольга Федотовна, в рассказе которой о Грайвороне всегда звучала нота небольшой раздражительности, которую, однако, напрасно кто-нибудь принял бы за неудовольствие на этого бедного человека или за открытую нелюбовь к нему. Боже сохрани! Добрейшая старушка моя ни к кому не питала таких чувств, и в душе она очень сожалела Грайворону и даже любила его; но... Тут нужно было довольно тонкое проникновение, чтобы понять: зачем этот как бы недовольный тон, и к кому именно он относится? Ольга Федотовна никогда не могла примириться с тем, что бабушка ценила поступок Грайвороны как нечто достойное особой похвалы и благодарности, тогда как Ольга Федотовна знала, что и она сама, и Патрикей, и многие другие люди не раз, а сто раз кряду умерли

бы за князя и княгиню и не помыслили бы поставить это себе в заслугу, а только считали бы это за святой долг и за блаженство.

Рассказом о смерти Грайвороны и о рождении моего отца Ольга Федотовна всегда как будто заканчивала введение в нашу семейную хронику. За этим следовало повествование об одиноком житье-бытье княгини Варвары Никаноровны до тех пор, пока ей настало время выдать замуж воспитавшуюся в Петербурге княжну Анастасию Львовну и заняться воспитанием моего отца, но я должна поступить иначе: я должна еще удержаться в этом тихом периоде раннего бабушкиного вдовства, для того чтобы показать облики ее ближайших друзей и очертить характер ее деятельности за пределами дома – в обществе.

Глава седьмая

Как понятно мне то, что Данте рассказывает об одном миниатюристе XIII века, который, начав рисовать изображения в священной рукописи, чувствовал, что его опытная рука постоянно дрожит от страха, как бы не испортил миниатюрные фигуры. В эти минуты я чувствую то же самое: пока я писала о бабушке и других предках Протозановского дома, я не ощущала ничего подобного, но когда теперь мне приходится нарисовать на память ближайших бабушкиных друзей, которых княгиня избирала не по роду и общественному положению, а по их внутренним, ей одной вполне известным преимуществам, я чувствую в себе невольный трепет. Могу ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатичные, умиляюще теплотой и безмерным благородством дышавшие черты этих маленьких людей?

Первыми друзьями молодого вдовства княгини были два самые скромные лица, имена которых я уже упоминала: это Патрикей Семеныч Сударичев и Ольга Федотовна, которую я девятнадцать лет кряду видела изо дня в день, но фамилия которой осталась для меня неизвестной. Я даже думаю, что она и сама ее едва ли знала. Оба эти друга княгини были существа очень добрые, честные и беззаветно ей преданные, а притом каждый из них совершенно по-своему, что зависело от различия их характеров. Патрикей Семеныч имел ум довольно глубокий и сосредоточенный, характер солидный и даже немножко важный; он по натуре был фанатик рабской преданности и твердый консерватор старых порядков. Ольга же Федотовна имела натуру более впечатлительную и нервную: она была быстрее Патрикея в своих соображениях и хотя поступала иногда немножко легкомысленно, но зато искупала этот недостаток тонким женским чутьем, с которым она открывала малейшие причины бабушкиных скорбей и умела утешать ее прежде, чем основательный Патрикей, подперши рукою свое жабо, мог до чего-нибудь додуматься. Преданность бабушке у Ольги Федотовны была такая же глубокая и страстная, как и у Патрикея, но в ней замешивалась некоторая нервная раздражительность и нетерпеливость, благодаря которой она иногда впадала в критицизм и, возмнив себя чем-нибудь обиженной, начинала плакать и дуться на княгиню. Бабушка это хорошо знала и в таких случаях обыкновенно говорила:

– Ольга Федотовна! Что это ты, мать моя, кажется, опять на меня за что-то рассердилась? Ну, прости Христа ради.

Ольга Федотовна сейчас же по такому поводу проливали слезы и становилась счастливою. Бабушка втайне от нее говаривала, что это у нее «такая пассия: захочется ей поплакать, она и начнет что-нибудь выдумывать, чтобы на меня рассердиться. Я сношу, привыкла и знаю, что она уважения стоит».

Патрикей был ортодоксальнее Ольги в своей вере в бабушку и потому никогда не согрешал против нее и не знал сладости слез Петрова покаяния.

Таковы в главных чертах основные различия характеров Патрикея и Ольги. Бабушка обоим их любила очень сильно, но тоже не совсем одинаковым образом: к Патрикею она обнаруживала больше уважения, а к Ольге Федотовне больше нежности. Княгиня считала ее легкомысленною и тарантую, что было отчасти и справедливо, но непременно любила с нею ночью поболтать и посоветоваться. При простудных же болезнях, которым очень часто подвергалась неосторожная Ольга Федотовна, бабушка сама обтирала ее согретым вином с уксусом и поила теплою малиной, хотя не забывала при этом ворчать:

– Это тебе, впрочем, и поделом, потому что ты таранта и любишь летать, куда тебе не нужно.

А Ольга Федотовна при этом целовала ручки бабушки и отвечала:

– Истинная правда: не столько я вам служу, сколько вы за мной ходите.

Патрикей был лет на двадцать старше бабушки, а Ольга Федотовна лет на восемь ее моложе. Она родилась на дворе в Протозанове и девчонкою была отвезена в Москву, где училась в модном магазине. Когда бабушка проезжала с мужем после свадьбы из деревни в Петербург, ей сделали в этом магазине платья. Ольга Федотовна бегала к бабушке «с примеркой» и, понравившись княгине за свою миловидность, была взята ею в Петербург.

– Обе мы были молоденькие, – рассказывала об этой поре Ольга Федотовна. – Княгиня в самые большие дома и во дворец выезжала и обо всем там, кажется, могли наговориться, а, бывало, чуть только вернутся, сейчас ко мне: разденутся и велят себе задорную корочку аржаного хлеба покруче крупной солью насолить и у меня на сундучке сядут, и начнем с нею про деревню говорить. А если когда князя долго нет и княгиня скучают, то положат перед собою от нетерпения часики с такою скорою стрелкой, – мы ее «тиран жизни» прозвали, – и обе вместе, чтобы не заснуть, на эту стрелку, на «тиран жизни», и смотрим.

С этих-то пор Ольга Федотовна начала «садиться при княгине», сначала только для того, чтобы прогнать вместе с нею сон, следя за неустанным движением «тирана жизни», а потом и в некоторых других случаях, когда княгиня предпочитала иметь пред собою Ольгу Федотовну более в качестве друга сердца, чем в качестве слуги.

Со вдовством бабушки отношения их с Ольгой Федотовной сделались еще короче, так как с этих пор бабушка все свое время проводила безвыездно дома. Ольга Федотовна имела светлую и уютную комнату между спальнею княгини Варвары Никаноровны и детскою, двери между которыми всегда, и днем и ночью, были открыты, так что бабушка, сидя за рабочим столиком в своей спальне, могла видеть и слышать все, что делается в детской, и свободно переговариваться с Ольгой Федотовной.

Официальное положение Ольги Федотовны всегда оставалось одно и то же: то есть она была просто бабушкина горничная, но честь ей шла от всех не в меру этого положения. Ольгу Федотовну все любили за ее хороший нрав и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда ни про кого не сказала княгине ни одного худого слова. Несмотря на свое скромное общественное положение, которое казалось еще более незаметным от личной скромности этой превосходной женщины, она имела очень большой круг знакомства между лицами высшей общественной среды. Ольгу Федотовну не только знали и величали по имени и отчеству все небогатые дворяне, к которым княгиня от времени до времени посылала ее навестить больного или отвезти секретное пособие, но они принимали ее запанибрата и старались у нее заискивать. Это чрезвычайно смущало врожденную скромность Ольги Федотовны, и она прибегала к пособию своего тонкого такта, чтоб отстранять эти панибратства. Она садилась у помещиков только по повторенному приглашению, и то не иначе, как в детской или в какой-нибудь другой «непарадной» комнате; чаю позволяла себе выпивать из рук хозяйки не более как две чашечки, а если ее где-нибудь в чужом доме застигала ночь, то она или непременно просилась ночевать с нянюшками, или по крайней мере ложилась «на стульях». У Ольги Федотовны было убеждение, что спать на стульях гораздо деликатнее, чем лечь на кровати или хоть на диване: она это и соблюдала.

Короткие приятельские связи у Ольги Федотовны были в другом кружке, именно в духовенстве. К своим приходским священникам и к дьякону она езжала вечером в воскресенье, в гости на чашку чая, и в этом же кружке был у нее ее единственный сердечный друг и ее единственная в жизни любовь – любовь такая целомудренная и ароматная, что я не встречала ничего ей подобного ни в жизни, ни в описаниях.

Глава восьмая

Сказав, что *единственный* друг Ольги Федотовны был на поповке, я должна оговориться, что тут нет с моей стороны никакой обмолвки насчет ее отношений к моей бабушке или к Патрикею. Бабушка считала Ольгу Федотовну своим другом, и Патрикей Семеныч, я думаю, тоже, по крайней мере это было видно во всей аттенции, с какою относился к ней этот сдержанный, солидный и самообладающий консерватор и княжедворец, но для Ольги Федотовны оба они были слишком умны и подавляли ее своим величием. Их она благоговейно чтит, а для дружбы, требующей равенства, искала существа попроще и нашла его в лице несколько старшей ее по летам дочери слепого заштатного дьякона Николая. Дьякон этот, человек превосходной жизни, давно овдовел и был очень беден, а к довершению своих несчастий он, везя летом с поля снопы, ослеп от молнии. С тех пор он уже не мог служить и получал от бабушки месячину на дворовом положении. У него было два сына и две дочери: сыновья его обучались в семинарии, а дочери росли дома и трудились. Обе они были девушки очень хорошие и хорошенькие. О старшей из них, именно о Марье Николаевне, я должна немножко распространиться, так как в ее лице буду рекомендовать третьего бабушкиного друга. Я уже сказала, что Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною красотой, которая исключительно свойственна благообразным женщинам из нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность, величие и силу своего обаяния: она задумчива, трогательна, является как бы только вместилищем заключенной в ней красоты духовной. О такой красоте прекрасно говорил восторженный Савонарола, впрочем и наши искусные древние иконописцы, изображая лики святых мучениц, умели передавать в их изображениях эту мерцающую красоту. Марье Николаевне уже давно истек тот возраст, в котором девицы духовного звания делают партии, а младшая еще была в поре, удобной для замужества. Но и у этой бедняжки, несмотря на ее пышную красоту в отличном от сестры роде, женихов, однако, не предвиделось: она была бесприданница, а бедное место сельского дьякона на дьячковской части сколько-нибудь стоящего человека не привлекало. Чтоб удержать отцовское место, приходилось или одному из сыновей оставить семинарию и заступить отца, или младшей сестре выйти за неуча, который от некуда деться будет рад взять это бедное место в приданое за хорошенькою женой.

Так бы непременно и случилось, если бы у нее не было старшей сестры, Марьи Николаевны, в которой обитала какая-то необыкновенная душа. С той поры, как она впервые себя сознала, до тех пор, как сказала пред смертью: «Прими дух мой», она *никогда не думала о себе* и жила для других, а преимущественно, разумеется, для своей семьи. Рано потеряв мать, она буквально вынянчила обоих братьев и сестру, которые все были моложе ее. Когда братьев отвезли в училище, она тринадцатилетнею девочкой отпросилась у отца на бывшую верст за сто от них ковровую фабрику. Бог весть, как она там прожила два года в сообществе фабричных женщин, нравы которых не пользуются особенным уважением. Марью Николаевну это ничто не испортило: она училась, работала и раза два в год набегала домой, чтобы провести праздники с отцом и с братьями, которые приходили об эту пору пешком из училища, а особенно с младшей сестрой, в которой не слыхала души. Отпраздновав несколько дней дома и наладив все, что без нее в домашнем хозяйстве приходило в расстройство, Марья Николаевна опять отправлялась пешком за сто верст на свою фабрику, пока, наконец, в конце второго года явилась оттуда веселая и счастливая, с кульком основы, узоров и шерстей, и, поставив в светлом углу бедной горницы ткацкий стан, начала дома ткать ковры уже как опытная мастерица. Этим рукомеслом она внесла в дом довольство и счастье, каких семья еще никогда не знала. Будучи прекрасною мастерицей, Марья

Николаевна получала с фабрики материал и заказы и, исполняя одни работы, отвозила их и забирала новые. Дело шло прекрасно, и скоро в доме застучал другой станок, за которым в качестве ученицы села младшая сестра. И эта была такою же мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее от всяких столкновений с торговыми людьми, продолжала ездить на фабрику одна и сама переносила всю тяжесть деловых отношений. Но благоденствие сестер обратило на себя внимание других девиц, приходивших к Марье Николаевне с просьбой «поучить» их: явилось соперничество, и цены заработков сбились до того, что Марья Николаевна, работая добросовестно, не находила возможным более конкурировать на фабрике; она стала работать с сестрою «на город», но излишняя конкуренция вторглась и на этот рынок. Средства бедной девушки стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать братьев, которые, переходя в высшие классы, требовали относительно больших расходов. Марья же Николаевна, будучи сама крайне чистоплотна, непременно хотела, чтобы братья ее не ходили босиком и в халатах, а имели бы обувь, манишечки и хотя нанковые или казинетовые сюртучки и жилеты. В устройстве этого гардероба мужской портной, разумеется, не участвовал, все мужские наряды братьям Марья Николаевна кроила и шила сама с сестрою по выкройкам, взятым с сюртука Патрикея Семеныча, но все-таки это стоило денег, по скудным добыткам девушки довольно больших. Ко всему этому, как я уже сказала, старый дьякон в это время, едучи с поля, был оглушен и ослеплен молнией, а сыновьям его еще оставалось быть года по два в семинарии, и потом Марья Николаевна хотела, чтобы хоть один из них шел в академию. Марья Николаевна умела смотреть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, что для этого прежде всего нужно, чтобы братьев ничто не отрывало от их научных занятий, а этому первым препятствием становилась бедность. Чтобы сколько-нибудь облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать младшей сестрой и выдать ее замуж за дьячка, который бы принял отцовское место, но Марья Николаевна с такою мыслью никак не могла помириться: она никем не хотела жертвовать, кроме себя самой, и нашлась, как это сделать. Энергичная девушка, пользуясь любовью и уважением купеческого дома, в который сбывала свои ковры, необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую красивую сестру за приказчика этого дома, молодого человека, который, по соображениям Марьи Николаевны, подавал добрые надежды, и не обманул их: сестра ее была за ним счастлива. Тогда Марья Николаевна чрез несколько же дней после сестриной свадьбы явилась к архиерейскому секретарю, поднесла ему в подарок ковер своего рукоделья и просила дать себе самой жениха, как единственной теперь незамужней дочери слепого дьякона. Секретарь посмотрел на нее, улыбнулся и, взяв ковер, довел ее просьбу до архиерея. Марья Николаевна представилась и владыке, который в свою очередь тоже на нее посмотрел и промолвил:

– Стара!

– Чего изволите? – переспросила, будто не расслышав, Марья Николаевна.

– Я говорю, что ты стара.

– Тридцать два года, владыко, – отвечала, не смущаясь, Марья Николаевна.

– Вона как! Это стара...

– Всего тридцать два года!

– Совсем стара!

– Ну, только воля ваша, владыко, а мне жених, как вам угодно, нужен.

– Все врешь: ни на что он тебе не нужен...

– Ей-богу, владыко, нужен.

И Марья Николаевна так основательно рассказала, зачем ей нужен жених, что архиерей стал убеждаться ее доводами и заговорил в другом роде:

– По этому судя, оно точно, он тебе по хозяйству нужен.

– По хозяйству же, владыко, по хозяйству и нужен. Явите свою милость и не откажите мне его даровать.

Архиерей был человек очень участливый и добрый.

– Гм... даровать, – заговорил он, – именно только уж надо даровать, да вот еще у меня на твое горе женихи-то все очень молоды.

– Ничего, преосвященнейший владыко, что ж, я всяким буду довольна.

– Ну-у! вот ты какая уветливая, и молодого берешь!

– Беру-с.

– Берешь? Ну так я же тебя награжу за покорность: возьму да самого молоденького тебе и дам; вы, стар да млад, скорее поладите.

– Слушаю, владыко, я полагаю.

– Умна; хорошо... очень умна. Я тебе дам женишка, и очень хорошего жениха дам; он давно у меня под замечанием, да; я его давно в усмирение наказать хотел, да; вот он своего часа и дождался. Он весьма козляковат, светского нрава любитель, поскакун, и краткие сюртуки себе нарочито для плясания завел, и камзельку с стекловидными пуговками себе приобрел. Отец протопоп видел, говорит: «аки бы звезды во мраке сияют, когда он вращается», а учение бросил, – вот я его теперь за все сразу и проучу – и за краткий сюртук, и за плясание, и за камзельку с стекловидными пуговками, да... вот я его, скакуна, усмирю... да; я возьму его да на тебе и женю. Ему это вместо епитимий будет!

Марья Николаевна за все эти милости владыке в ноги, а тот сейчас же вызвал из коридора, где ждали просители, молодого белокурого семинариста и говорит:

– Ты хочешь места?

– Желаю.

– Так вот можешь получать со взятием сей себе в жены, – иначе не получишь.

Семинарист встряхнул кудрявою головой и отвечал согласием, а Марья Николаевна скорее один поклон архиерею, другой – жениху, дескать «спасибо, что выручил», и выкатила с женихом, который через несколько дней стал ее мужем.

Неравенство их лет было очень заметное: Марья Николаевна, как женщина, была уже на склоне, и ее иконописная красота совсем увяла, а муж ее только расцветал. Но, замечательное дело, они жили счастливо. Что Марья Николаевна никогда не жаловалась на свою долю, это было в порядке вещей: она шла замуж совсем не для того, чтобы быть счастливой, а для того, чтобы сохранить кусок хлеба отцу и дать братьям средства окончить курс, но было несколько удивительно, что и муж ее не роптал на судьбу свою... Молодой «поскакун» оценил редкие достоинства этой чудной женщины и... полюбил ее! Такова иногда бывает власть и сила прямого добра над живою душой человека.

Вся эта эпопея разыгралась еще в то время, когда бабушка жила в Петербурге, но завершилась она браком Марии Николаевны как раз к возвращению княгини в Протозаново. Ольга Федотовна, узнав как-то случайно Марью Николаевну, отрекомендовала ее в одной из своих вечерних бесед княгине, а та, имея общую коллекторам страсть к приобретению новых экземпляров, сейчас же пожелала познакомиться с «героиней». (Так она с первого слова назвала Марью Николаевну, выслушав о ней доклад Ольги Федотовны.)

Чуждая излишнего самолюбия и потому совершенно свободная от застенчивости, дьяконица тотчас же предстала княгине и, сразу приобретя ее благорасположение, получила приглашение ходить к ней запросто, а когда приедут братья, то и их ей представить.

Марья Николаевна этим не проманкировала, и как только молодые люди приехали, она их тотчас же привела к княгине.

Из них старший тогда только что окончил курс, а второй был в философском классе.

Марья Николаевна, введя богослова с философом, сама стала у порога, а те сейчас же вышли на середину комнаты и начали пред бабушкой декламировать, сначала философ по-гречески, а потом богослов по-латыни.

Бабушка, разумеется, во всем этом ни слова не понимала, но прилежно слушала, сама рассматривала молодцов, из которых один был другого краше. Особенно был хорош старший, богослов: высокого роста, с густыми косицами русых волос на висках и с нежным бархатным пухом вокруг свежих розовых щек. Большие небесного цвета глаза его так отрадительно глядели из-под длинных темных ресниц, что сама бабушка залюбовалась на молодого человека и мысленно перебирала: какой прекрасный ряд разнообразных ощущений должен был теперь проходить в душе Марьи Николаевны, которой эти молодые люди всем были обязаны. Но княгиня не замечала, что в то же самое время ряд иных, и притом самых роковых, впечатлений наплывал и теснился в другую восторженную душу, именно в душу Ольги Федотовны.

Она воспылала самою нежною любовью к богослову, но, увы! не на радость ни ему, ни себе, так как в планы Марии Николаевны отнюдь не входила рановременная женитьба брата, которому ее заботливость прочила другую карьеру.

Ольга Федотовна ничего этого тогда не знала, да и к чему ей было знать что-нибудь в эти блаженные минуты. Неодолимые противоречия, в примирении которых лежала развязка этого романического случая, и без того не замедлили подвергнуть сердце бедной девушки всем испытаниям несчастной любви.

Глава девятая

Всего «мечтания» Ольги Федотовны, так она обыкновенно называла свою любовь, было два месяца, от начала каникул до открытия академических курсов. В такое короткое время любовь эта зародилась, дошла до зенита и, совершив все свое грациозное течение, спала звездой на землю, где поросла травой забвения.

Ольге Федотовне, разумеется, нелегко было скрывать, что она любит богослова; чем она тщательнее хоронила в себе эту тайну своего сердца, тем чистое чувство ее сильнее росло и крепло в этих похоронках и бунтливо рвалось наружу. Ольга Федотовна, несмотря на свое магазинное воспитание, была совершенно неопытна в любовных делах: она думала, что счастье, которое она впервые ощутила при сознании, что она любит, может оставаться полным и найдет для себя занятие в самом себе, но, увы! сердце бедной девушки начало жаждать ответа.

Ольге Федотовне томительно захотелось знать: заметит ли он ее, думает ли он об ней и что именно это за дума? Но как узнать об этом? Она имела обыкновение бегать к Марье Николаевне на минутку каждые сумерки и теперь продолжала делать это еще охотнее, потому что могла там видеть свой кумир, но она с кумиром никогда не оставалась наедине, и они не говорили ни о чем, кроме самых обыкновенных вещей. Сердце страстно влюбленной только больше и больше мучилось. Всемерно заботясь о сохранении своей тайны, Ольга Федотовна, по странному противоречию, в то же время приходила в негодование, что ее не замечают. От этой истомы и волнений она занемогла и в непрерывных думах об одном и том же выработала в себе такую чувствительную раздражительность, что глаза у нее постоянно были полны слез и она беспрестанно готова была расплакаться. Бабушка не могла придумать, что такое с ее фавориткою, и сколько ни добивалась, ничего от нее не узнала; но вскоре же вышел случай, при котором Ольга Федотовна головою себя выдала сначала Марье Николаевне, а потом и самой княгине.

Дело это вышло из того, что Марье Николаевне, которая не уставала втирать своих братьев во всеобщее расположение и щеголять их образованностью и талантами, пришло на мысль просить Ольгу Федотовну, чтобы та в свою очередь как-нибудь обиняком подбила бабушку еще раз позвать к себе богослова и поговорить с ним по-французски.

Дьяконица передала об этом Ольге Федотовне под большим секретом и с полной уверенностью, что та по дружбе своей непременно охотно за это возьмется; но, к удивлению ее, Ольга Федотовна при первом же упоминании имени Василия Николаевича (так звали богослова) вдруг вся до ушей покрылась густым румянцем и с негодованием воскликнула:

– Что это вы, Марья Николаевна... как вы это могли подумать?

– А что такое?

– Да это вы хотите, чтоб я стала говорить о Василии Николаиче... Ни за что на свете!

– Но отчего же?

– Нет, лучше и не говорите: я вам все что угодно готова сделать, но имени его пред княгиней я произнести... не могу.

Марья Николаевна, никогда не знавшая никакой другой любви, кроме родственной и христианской, и тут не поняла, в чем дело, и спросила:

– Ах, милая Ольга Федотовна, да неужели же вам имя его так противно?

Этого наивного вопроса Ольга Федотовна уже не выдержала.

– Как! – вскрикнула она. – Вы это так, Марья Николаевна, поняли, что мне... может быть противно?

И с этим у нее на обеих ресницах задрожали слезы и она, не простившись с Марьей Николаевной, ударилась бежать домой.

Марья Николаевна более не возобновляла этого ходатайства через Ольгу Федотовну, а самолично устроила богослову французские конференции с бабушкой. Результат этих конференций был, однако, не совсем удовлетворительный, потому что княгиня, предложив семинаристу два-три вопроса на французском языке, тотчас же заговорила с ним опять по-русски, а при прощании дала ему такой совет:

– Знаете, я вам скажу, мой друг, вы это прекрасно сделали, что выучились по-французски: это в рассуждении чтения вам будет очень полезно, но только говорить вам на этом языке без нужды я не советую.

Марья Николаевна, может быть, не совсем поняла, что это значит, но, вероятно, склонна была бы этим немножко огорчиться, если бы бабушка тут же не отвлекла ее внимания одним самым неожиданным и странным замечанием: княгиня сказала дьяконице, что брат ее влюблен.

Марья Николаевна страшно переконфузилась и отвечала:

– Что вы, ваше сиятельство... разве это можно?

– Да ты напрасно этого так стыдишься.

– Нет, да как же... помилуйте: зачем же это могло... помилуйте!

– Ну, а велика ли в том польза будет, что я тебя помилую, а он все-таки влюблен!

– Да в кого же, ваше сиятельство, влюблен? Это совсем напрасно.

– А вот же и не напрасно: он в мою Ольгу влюблен!

– Как!.. в Ольгу Федотовну?! в вашем доме!.. Нет, ваше сиятельство... Не думайте, я его сама воспитывала... он не решится...

Бабушке немало труда стоило успокоить дьяконицу, что она ничего о ее брате худого не думает и нимало на него не сердится; что «любовь это хвороба, которая не по лесу, а по людям ходит, и кто кого полюбит, в том он сам не волен».

– А в таком разе...

Марья Николаевна не договорила и тихо заплакала и на внимательные расспросы княгини о причине слез объяснила, что, во-первых, ей несносно жаль своего брата, потому что она слыхала, как любовь для сердца мучительна, а во-вторых, ей обидно, что он ей об этом ничего не сказал и прежде княгине повинился.

– Перестань, мать: не винился он мне, – отвечала княгиня, – а я сама все заметила.

– Из каких поступков?

– Из того, что они друг другу в глаза смотреть не могут... краснеют.

– И только-с?

– Да; глаза влюбленные.

– Это, может быть, ваше сиятельство, так просто глаза, от конфуза... Однако я Васю об этом спрошу.

– Не скажет он тебе.

– Скажет-с; я с ним к младшей сестре съезжу: она хитренькая, притворится и все у него выпросит.

На другой день Марья Николаевна действительно съездила обыденкой с братом к сестре и, вернувшись к вечеру домой, прибежала к бабушке.

– Ну что? – спросила княгиня.

– Влюблен-с, – отвечала дьяконица.

– А, вот видишь! Уж я эти влюбленные глаза знаю.

– Нет-с, уж что тут, ваше сиятельство, глаза! Он долго и сестре ничего не хотел открыть; только когда мы с нею обе пред ним на коленки стали, так тогда он открыл: «влюблен, говорит, и без нее даже жить не могу».

Если бы княгиня и дьяконица были в эти минуты поменьше заняты тем, о чем они говорили, то им бы надлежало слышать, что при последних словах двери соседней гардеробной

комнаты тихо скрипнули и оттуда кто-то выкатил. Это была счастливейшая из счастливых Ольга Федотовна. Она теперь знала, что ее любят.

Затем прошла неделя ее недолговечного счастья, в продолжение которой она ни разу не ходила к Марье Николаевне и богослова не видала, а бабушка в это время все планировала, как она устроит влюбленных. Она решила, что богослов выйдет из духовного звания, женится на Ольге Федотовне и поступит на службу. Тогда семинаристы, благодаря Сперанскому, были в моде и получали ход; а бабушка уже все придумывала: как обеспечить молодых так, чтобы они не знали нужды и муж ее любимицы не погряз бы в темной доле и не марал бы рук взятками.

Все это было стройно улажено в ее голове, и она уже готовилась обрадовать этим Ольгу, но только прежде хотела знать на этот счет мнение Марьи Николаевны, которой и открыла весь план свой.

Дьяконица, к немалому удивлению бабушки, выслушала это с крайним смущением: как она ни любила Ольгу Федотовну, но женитьба на ней брата не входила в ее соображения.

– Ему рано, – отвечала она, – ваше сиятельство; и я хочу, чтоб он в академию шел и профессором был.

Профессорство это было во мнении Марьи Николаевны такое величие, что она его не желала сменять для брата ни на какую другую карьеру. Притом же она так давно об этом мечтала, так долго и так неуклонно к этому стремилась, что бабушка сразу поняла, что дело Ольги Федотовны было проиграно.

Бедная девушка получила жестокий удар не от врага, а от сердечнейшего друга, и не одна она, но и он.

Для быстролетной любви этой началась краткая, но мучительная пауза: ни бабушка, ни дьяконица ничего не говорили Ольге Федотовне, но она все знала, потому что, раз подслушав случайно разговор их, она повторила этот маневр умышленно и, услышав, что она служит помехою карьере, которую сестра богослова считает для брата наилучшею, решилась поставить дело в такое положение, чтоб этой помехи не существовало.

Глава десятая

Марья Николаевна, возвращаясь от бабушки вечером после описанного разговора, была страшно перепугана; ей все казалось, что, как только она сошла с крыльца, за ней кто-то следил; какая-то небольшая темная фигурка то исчезала, то показывалась и все неслась стороною, а за нею мелькала какая-то белая нить. Марья Николаевна понять не могла, что это такое, и все ускоряла свой шаг; но чуть только она опустилась в лошину, за которою тотчас на горе стояла поповка, это темное привидение вдруг понеслось прямо на нее и за самыми ее плечами проговорило:

– Вы, Марья Николаевна, не беспокойтесь!

Марья Николаевна страшно испугалась, но, услышав в этом голосе что-то знакомое, тотчас же ободрилась и крикнула:

– Ольга Федотовна, это вы?

Но, однако, ответа не было, а темная фигурка, легко скользя стороною дороги, опять исчезла в темноте ночи, и только по серому шару, который катился за нею, Марья Николаевна основательно убедилась, что это была она, то есть Ольга Федотовна, так как этот прыгающий серый шар был большой белый пудель Монтроз, принадлежавший Патрикею Семенычу и не ходивший никуда ни за кем, кроме своего хозяина и Ольги Федотовны.

Марья Николаевна, по женскому такту, никому об этой встрече не сказала, она думала: пусть Ольга Федотовна делает как думает. Бабушке ровно ничего не было известно: она только замечала, что Ольга Федотовна очень оживлена и деятельна и даже три раза на неделе просилась со двора, но княгиня не приписывала это ничему особенному и ни в чем не стесняла бедную девушку, которую невдалеке ожидало такое страшное горе. Княгиня только беспокоилась: как ей открыть, что богослов никогда ее мужем не будет.

Меж тем прошла в этом неделя; в один день Ольга Федотовна ездила в соседнее село к мужику крестить ребенка, а бабушке нездоровилось, и она легла в постель, не дождав-шись своей горничной, и заснула. Только в самый первый сон княгине показалось, что у нее за ширмою скребется мышь... Бабушка терпела-терпела и наконец, чтоб испугать зверька, стукнула несколько раз рукою в стену, за которою спала Ольга Федотовна.

Та явилась как лист пред травой.

– Я тебя не звала, мне показалось – мыши...

Ольга Федотовна отошла и стала лицом к образнику.

Бабушка подождала и потом окликнула:

– Ольга, что ты там делаешь?

– Лампад поправляю-с, – отвечала Ольга Федотовна, и в это же самое мгновение поплавок лампы юркнул в масло, и свет потух.

– Сора, матушка, прекрасно поправила... И главное, кто тебя об этом просил? лампада прекрасно горела, так нет...

Но в это время Ольга Федотовна подошла впотьмах к бабушкиной постели и прошептала:

– Ваше сиятельство! я пришла повиниться.

Бабушка бог знает что подумала и тревожно отвечала:

– Что такое? что такое? это ни на что не похоже... поди от меня с своею виной; я ничего не хочу знать.

– Ваше сиятельство... я самое безвредное!

Княгиня пожала плечами и молвила:

– Вот пристала!

– Теперь я Василью Николаичу не помеха: он меня любить не может.

Бабушка повернулась в постели и спросила:

– Отчего?

– Мы с ним сегодня у мужика младенца крестили.

Бабушка села в кровати и произнесла:

– Ольга, ты глупа.

– Ваше сиятельство, это так надо было-с.

– Нет, ты извини меня: я всегда думала о тебе, что ты гораздо умнее, а ты положительнейшим образом глупа: Вася мог окончить курс в академии и остаться тебе верен и тогда бы на тебе женился, а теперь вы кумовья – куму на куме никогда жениться нельзя.

– Я это знала-с, я все знала и нарочно сделала.

– Зачем, говори мне, зачем?

– Чтоб им обо мне не думалось; чтоб я... им не мешала; чтоб из памяти меня выкинули, – отвечала бедная девушка и зарыдала.

Бабушка встала с кровати, сама зажгла лампаду и, севши потом в кресло, сказала:

– Удивила ты меня, но он мне еще более тебя удивителен: как же он на это согласился? Неужели я в нем ошиблась, и он тебя мало страстно любит?!

Это словечко кольнуло самолюбие Ольги Федотовны: в ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться сознанием, что ее много любят.

– Нет-с, – отвечала она, – они меня истинно как должно любят, а это что они крестили – все через мое коварство случилось.

– А где же его голова-то была?

– Не могли-с они пред моим обольщением своею головою управлять, а после, дав мне слово, бесчестным быть не хотели, – отвечала не без гордости и не без уважения к себе Ольга Федотовна.

Не зная, как должно понимать все недомолвки этой обольстительницы злополучного богослова, бабушка, отложив всякие церемонии, сказала:

– Ты если хочешь говорить, то здесь только бог да мы двое, – так ты говори откровенно, что ты набедокурила?

– Одного этого теперь только и желаю: открыться.

– Ну и откройся.

Ольга Федотовна и начала.

Рассказав бабушке со всей откровенностью, как ей стали известны затруднения Марьи Николаевны, девушка в трагической простоте изобразила состояние своей души, которая тотчас же вся как огнем прониклась одним желанием сделать так, чтобы богослов не мог и думать на ней жениться. За этим решением последовало обдумывание плана, как это выполнить. Что могла измыслить простая, неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя жениться на куме, и ей сейчас же пришло в голову: зачем она не кума своему возлюбленному?

– Тогда бы он не мог ко мне свататься и вышел бы в архиереи.

Так заключила Ольга Федотовна, постоянно заменяя по какой-то случайности слово «профессор» словом «архиерей». И, раз попав на эту мысль, она вдруг стала искать средств: нельзя ли это поправить? В конце концов это ей показалось хотя и довольно трудным, но обычным, если пустить в ход все ей известные средства. И вот Ольга Федотовна, забрав это в голову, слетала в казенное село к знакомому мужичку, у которого родился ребенок; дала там денег на крестины и назвалась в кумы, с тем чтобы кума не звали, так как она привезет своего кума. Во всем этом она, разумеется, никакого препятствия не встретила, но труднейшая часть дела оставалась впереди: надо было уговорить влюбленного жениха, чтоб он согласился продать свое счастье за чечевичное варево и, ради удовольствия постоять с любимую девушкою у купели чужого ребенка, лишит себя права стать с нею у брачного

аналоя и молиться о собственных детях. Это, конечно, хоть какому уму была задача нелегкая. Но Ольга Федотовна разрешила ее блистательно.

Глава одиннадцатая

Угадывая инстинктом природу молодой страсти своего возлюбленного, Ольга Федотовна не решилась ни на какие прямые с ним откровенности. Она правильно сообразила, что этим она его не возьмет, и обратилась к хитрости, к силе своих чар и своего кокетства.

Навестив в сумерки одного дня Марью Николаевну, Ольга Федотовна нарочно у нее припоздала, а потом высказала опасение идти одной через бугор, где ночевала овечья отара, около которой бегали злые сторожевые собаки. Влюбленный студент не смел вызваться быть ее провожатым, но она сама его об этом попросила: богослов, разумеется, согласился; он выдернул из плетня большой кол, чтобы защищаться от собак, и пошел вслед за своею возлюбленною. Дорога была нехороша; днем выпал дождик, и суглинистая земля смокла и осклизла. Ольга Федотовна плохо ступала: она была, как назло, в новых башмачках, и ее маленькие ножки беспрестанно ползли назад или спотыкались.

Если она к этому прибавляла что-нибудь с намерением дать понять своему спутнику, что ей очень трудно идти одной без его поддержки, то, вероятно, делала это с большим мастерством; но тем не менее румяный богослов все-таки или не дерзал предложить ей свою руку, или же считал это не идущим к его достоинству.

Ольга Федотовна решилась прервать это затруднение.

– Василий Николаич, – сказала она, – что вы это сзади меня идете?

– А что же такое?

– Да так, нехорошо... вы точно служитель.

– Ничего-с.

– Нет, вы бы лучше рядом шли да мне бы руку дали, а то очень склизко.

– С большим моим удовольствием, – отвечал богослов.

– Или вам, может быть, со мной под руку стыдно и неприятно идти?

– Нет, отчего же... напротив, даже очень приятно.

– Вы, впрочем, откровенно скажите: если стыдно, так вы не беспокойтесь.

Богослов еще раз повторил, что ему приятно, и они взялись под руки, но разговор у них прекратился, а дорога убывала. Ольга Федотовна видела, что спутник ее робок и сам ни до чего не дойдет, и снова сама заговорила:

– Вы, Василий Николаич, много учились?

– Много-с.

– И ведь трудно небось?

– Ничего-с.

– Как же... есть науки трудные.

– Есть-с.

– Ну так как же с ними?

– Преодолеваешь.

– И секут?

– Секут-с.

– И вас там секли?

– Непременно-с, как и всякого.

– И слукавить нельзя?

– Нельзя-с.

– Отчего же?

– Потому что это всегда перед начальством делается.

– Неужто начальник смотрит?

– Постоянно-с.

- Ах боже мой! а он светский или монах?
- Монах-с.
- Монах!
- Наверно так-с.
- Так это ведь как же, должно быть конфузно?
- Отчего же?
- Да при монахе-то?
- Нет-с; в молодых годах ничего, и потом больно, так не разбираешь.
- Видите ли! а вы сколько лет там находились?
- Тринадцать-с.
- Ах боже мой! И какое число несчастливое.
- Это предрассудок-с.
- А ведь скажите: в науках о сердце ничего не говорится?
- В каком смысле?
- Чтобы как любить должно и как мужчине с женщиной обращаться?
- Ничего-с.

И разговор снова смолк, а пути между тем осталось еще менее. Ольга Федотовна вспомнила, о чем, бывало, слыхала в магазине, и спросила:

- Вы, Василий Николаич, умеете танцевать?
- Нет-с, не умею.
- Очень жаль: в танцах кавалеры с девицами откровенно объясняются.
- Да это если ловкий кавалер, так и не в танцах можно-с.
- Например, как же?
- Стихами или задачей: что лучше – желать и не получить, или иметь и потерять; а то по цветам: что какой цвет означает – верность или измену.
- А вы к измене или к верности склонны?
- Я измены ненавижу.
- Вы неправду говорите.
- Почему же неправду?

Ольга Федотовна решительно не знала, куда она идет с этим разговором, но на ее счастье в это время они поравнялись с отарой: большое стадо овец кучно жалось на темной траве, а сторожевые псы, заслышав прохожих, залаяли. Она вздрогнула и смело прижалась к руке провожатого.

- Вы боитесь? – спросил, взмахивая колом, богослов.
- Нет, не боюсь... А вот уже и дом близко.
- Да; близко-с, – отвечал, вздохнув, богослов.

Ольга Федотовна пожала к себе его руку и, отворотясь от него в сторону, проговорила:

- Василий Николаич!
- Что вам угодно, Ольга Федотовна?
- О чем вы вздыхаете?
- Я не вздыхал-с.
- Нет, вы вздохнули.
- Может быть-с.
- Так о чем же это?
- Этого сказать нельзя-с.
- Почему же нельзя?
- Потому что вы можете обидеться.
- Ну, это, стало быть, вы меня не любите.
- Кто это?... я вас не люблю! – вскричал богослов.

– Ах, что вы это, Василий Николаич, так громко. Это надо тише.

– Я вас так люблю-с, так люблю, – начал богослов, но Ольга Федотовна его остановила и, задыхаясь от страха, сказала:

– Позвольте, позвольте... Не говорите здесь про это.

– А где же-с?

– Вот сейчас... вот мы в сени взойдем.

Она была в положении того неопытного чародея, который, вызвав духов, не знал, как заставить их опять спрятаться. На выручку ее подоспел Монтрозка, который, завидев ее с крыльца, подбежал к ней с радостным воем. Ольга Федотовна начала ласкать Патрикеева пуделя и, быстро вскочив на крыльцо, скрылась в темных сенях.

Богослов не сбобел и очутился тут же за нею.

– Ишь вы какой, Василий Николаич, хитрый, – шептала девушка, и вслед за тем громко кашлянула.

– Зачем это вы так громко?

– Чтоб узнать, нет ли тут девушек?

– Что же, их нет-с?

– Нет, – отвечала Ольга, дрожа всем телом и держа рукою за ошейник Монтрозку.

– Так вы извольте теперь услышать про мои чувства.

– Нет, зачем же, Василий Николаич... Я вам верю... Я и сама к вам хорошие чувства, Василий Николаич, имею.

И у нее дрогнул голос.

– А в таком случае... – сказал богослов, – я от вас должен что-нибудь получить.

Ольга Федотовна чувствовала, что ей изменяют силы, но вела игру далее и прошептала:

– Что же такое получить?

Риск и соблазнительная темнота сеней еще прибавили нашему герою смелости, и он отвечал:

– Поцелуй-с!

Ольга Федотовна вздрогнула и отвечала:

– А-а, ишь вы какой, Василий Николаич, уж и поцелуй.

– Всегда так-с... объяснение, а потом и поцелуй.

– Неужели это так?

– Непременно-с!

– Ну хорошо, Василий Николаич, если это так нужно, то что же делать, я вас поцелую, но только уговор!

– Все, что вам угодно.

– Чтобы первую просьбу, которую вас попрошу, чтобы вы исполнили!

– Исполню-с.

– Честное слово?

– Все, что вам угодно.

– Извольте же! Я вам удовольствие сделаю, только вы вот идите сюда... Вот сюда, сюда, за моею рукою: здесь темнее.

И, заведя богослова в самый темный угол, она обвила одною рукой его шею и робко поцеловала его в губы, а другою выпустила ошейник Монтроза и энергически его приуськнула. Собака залаяла, и вооруженный колом богослов, только что сорвавший первый и единственный поцелуй с губок своей коварной красавицы, бросился бежать, а на другой день он, не успевши опомниться от своего вчерашнего счастья, сдерживая уже свое честное слово – не возражать против первой просьбы Ольги Федотовны, и крестил с нею мужичьего ребенка, разлучившего у своей купели два благородные и нежно друг друга любившие сердца.

Остальное пошло так, как Ольга Федотовна хотела для счастья других: с течением многих лет ее Василий Николаич, которого она притравила, как Диана Актеона, окончил курс академии, пошел в монахи и был, к удовольствию сестры, архиереем, а Ольга Федотовна так и осталась Дианою, весталкою и бабушкиною горничной.

Глава двенадцатая

Чтобы не оставлять от этой любви ничего недосказанного, я должна прибавить, что Ольга Федотовна, схрабровав в этот раз более, чем можно было от нее ожидать, после, однако, очень долго мучилась.

– Все у нее, бедной, корчи в сердце делались, – говорила бабушка. – Марья Николаевна в ту пору ее, бедную, даже видеть боялась, а мы с Патрикеем как могли ее развлекали. Ничего ей прямо не говорили, а так всё за нею ухаживали, то на перелет, то на рыбную ловлю ее брали, и тут она у меня один раз с лодки в озеро упала... Бог ее знает, как это с нею случилось, – не спрашивала, а только насилу ее в чувства привели. А потом как к первым после того каникулам пришло известие, что Вася не будет домой, потому что он в Киеве в монахи постригся, она опять забеленила: все, бывало, уходит на чердак, в чулан, где у меня целебные травы сушились, и сверху в слуховое окно вдаль смотрит да поет жалким голосом:

Ты проходишь, дорогой друг, мимо кельи,
Где несчастная черница ждет в мученьи.

Черницей все сама себя воображала!.. Да и я, признаться, этим совсем недовольна была, – заключала бабушка, – молод больно был!.. Это неопытно, мог бы и не идти в монастырь, а другую судьбу себе в жизни найти, да удержать, видно, некому было.

Но, наконец, и эта «корчь сердца» стихла, и Ольга Федотовна успокоилась, она жила и старелась, никогда никому ни словом, ни намеком не выдавая: умерло или еще живо и вечно осталось живым ее чувство.

Я уже помню себя, хотя, впрочем, очень маленькою девочкою, когда бабушка один раз прислала к нам звать маман со всеми детьми, чтобы мы приехали к обедне, которую проездом с епископской кафедры на архиепископскую будет служить архиерей, этот самый брат дьяконицы Марьи Николаевны. Маман, конечно, поехала и повезла всех нас к бабушке. Помню это первое архиерейское служение, которое мне довелось видеть: оно поражало своим великолепием мои детские чувства, и мне казалось, что мы находимся в самом небе. Но сам архиерей мне не понравился: он был очень большой, тучный, с большою бородой, тяжелым, медлительным взглядом и нависшими на глаза густыми бровями. Ходил шибко, резко взмахивал рукавами, на которых гулко рокотали маленькие серебряные бубенчики, и делал нетерпеливые нервные движения головою, как бы беспрестанно старался поправлять на себе митру.

Бабушка и для архиерейского служения не переменяла своего места в церкви: она стояла слева за клиросом, с ней же рядом оставалась и маман, а сзади, у ее плеча, помещался приехавший на это торжество дядя, князь Яков Львович, бывший тогда уже губернским предводителем. Нас же, маленьких детей, то есть меня с сестрою Nathalie и братьев Аркадия и Валерия, бабушка велела вывести вперед, чтобы мы видели «церемонию».

Для надзора за нами сзади нас стояла Ольга Федотовна, тогда уже довольно старенькая, хотя, по обыкновению, свеженькая и опрятная, какою она была во всю свою жизнь.

Никто из нас, детей, разумеется, и воображения не имел, что такое наша Ольга Федотовна могла быть этому суровому старику в тяжелой золотой шапке, которою он все как будто помахивал. Мы только всё дергали Ольгу Федотовну потихоньку за платье и беспрестанно докучали ей расспросами, что значит то и что значит это? На все эти вопросы она отвечала нам одно:

– Стойте смиренно!

Но когда совсем облаченный архиерей, взойдя на амвон, повернулся лицом к народу и с словами «призри, виждь и посети» осенил людей пылающими свечами, скромный белый чепец Ольги Федотовны вдруг очутился вровень с нашими детскими головами. Она стояла на коленях и, скрестив на груди свои маленькие ручки, глазами ангела глядела в небо и шептала:

– Свет Христов просвещает все!

В этом как бы заключался весь ответ ее себе, нам и всякому, кто захотел бы спросить о том, что некогда было, и о том, что она нынче видит и что чувствует.

Бабушка в этот день была, по-видимому, не в таком покорном настроении духа: она как будто вспомнила что-то неприятное и за обедом, угощая у себя почетного гостя, преимущественно предоставляла занимать его дяде, князю Якову Львовичу, а сама была молчалива. Но когда архиерей, сопровождаемый громким звоном во все колокола, выехал из родного села в карете, запряженной шестериком лучших бабушкиных коней, княгиня даже выразила на него дяде и татам свою «критику».

– Напрасно, я нахожу, он здесь этакую проповедь изволил сказать, – заговорила она, – и не понимаю, что это ему вздумалось тут говорить, что «нет больше любви, если кто душу свою положит»... Это божественные слова, но только и их надо у места ставить. А тут, – она повела рукою на чайную комнату, где Марья Николаевна и Ольга Федотовна в это время бережно перемывали бывший в тот день в употреблении заветный саксонский сервиз, и добавила: – тут по любви-то у нас есть своя академия и свои профессора... Вон они у меня чайным полотенцем чашки перетирают... Ему бы достаточно и того счастья, что он мог их знать, а не то, чтобы еще их любви учить! Это неделикатно!

И, не принимая никаких услуг без вознаграждения, княгиня тотчас же послала архиерею с Патрикеем в город отрез бархата на рясу и гро-гро на подрясник. Архиерей переслал с тем же Патрикеем бархат сестре, а шелковую материю Ольге Федотовне.

– Он, значит, тебя еще не забыл, – сказала Ольге бабушка.

– Да-с, – отвечала она и тотчас же отнесла свой подарок на завесу в церковь.

Таков конец этого позднего эпизода, введенного мною здесь, может быть, не совсем кстати, но я считала его тут необходимым для того, чтобы закончить фигуру Ольги Федотовны, после которой перехожу к изображению другого важного лица придворного штата княгини – Патрикея.

Глава тринадцатая

Патрикей Семеныч Сударичев был человек очень высокого роста и имел очень умное «дипломатическое» лицо, продолговатое, бледное, с приветливым, мягким, но в то же время внушающим почтением выражением. Одевался он всегда очень строго и опрятно в один и тот же костюм: довольно длинный суконный сюртук цвета *bleu de Pruss*,³ белый жилет, по которому шел бисерный часовой снурок с брелоком из оправленного в червонное золото дымчатого топаза с вензелем моего деда. Это был для него священный предмет, который он получил от княгини в память о князе. Патрикей носил высокие, туго накрахмаленные воротнички, из тех, что называли тогда «полисонами», и огромное гофрированное жабо. В торжественные дни сюртук заменялся фраком того же *бле-де-пруссского* сукна с гладкими золочеными пуговицами, но жилет, жабо и все прочее, не исключая даже высоких сапожков с кисточками у голенищ и с умеренным скрипом под рантом, все оставалось то же. Он и под старость ветхих лет своих, долготою которых упорно соперничал с бабушкой, всегда держался прямо и молодцевато, а в молодости, по словам Ольги Федотовны, был «просто всем на загляденье». Сама старенькая Ольга Федотовна, бывало, молодела и расцветала, начиная перечислять нам все достоинства, которыми сиял Патрикей.

– Красоту он, – говорила старушка, – имел такую, что хотя наш женский пол, бывало, и всякий день его видел, но, однако, когда у княгини бывали в залах для гостей большие столы, то все с девичьей половины через коридорные двери глядеть ходили, как он, стоя у особого стола за колоннами, будет разливать горячее. И все это не из-за чего-нибудь, потому что Патрикей Семеныч был семейный человек, а единственно ради прелести посмотреть. Да и, откровенно скажу, было на что полюбоваться: как доложит бабынке, что все готово, и выйдет в зал, станет сам на возвышении между колонн пред чашею и стоит точно капитан на корабле, от которого все зависит. А как только гости вслед за княгиней парами в зал вступят и сядут, он молча глаз человеку сделает, тот сейчас крышку с чаши долой, а он и начнет большою ложкой разливать... Ах, как он разливал! то есть этак, я думаю, ничего на свете нельзя так красиво делать! Рука эта у него точно шея у лебедя гнется: нальет, и передает лакею тарелку, и опять возьмет: все красота.

Окончив разливанье, которым так любовались художественные натуры села Протоzanoва, Патрикей Семеныч сходил с возвышения и становился за стулом у бабушки, и отсюда опять продолжал давать молча тон мужской прислуге и служить предметом восторгов для наблюдавших за ним из своего секрета женщин.

Стоя за Варварой Никаноровной, Патрикей не смел служить ей как обыкновенный лакей. Он всегда к этому имел тяготение, но это ему давно строго-настроено было запрещено. Он дерзал только прислуживать княгине, и когда лакей подносил бабушке блюдо, Патрикей слегка поддерживал его под краек, как делают камергеры. Бабушка, говорят, много раз настаивала, чтобы Патрикей и такого участия не принимал в столовой услуге, но это запрещение служить ей так сильно его огорчало, что княгиня нашлась вынужденною ему уступить. Затем во всех обязанностях Патрикея при княгине не было ничего сближавшего его со званием комнатного слуги, хотя, впрочем, он никакого другого официального звания при доме не имел. С тех пор, как излагал последние минуты князя и, позабыв в свечном ящике свою вольную, отыскивал трубача Грайворону, он так и остался *attaché*, без всякого особого названия, но с полнейшим во всем полномочием. Он вел все переговоры с людьми, которых бабушка иногда почему-нибудь не могла принять; устраивал ее бесчисленных крестников и

³ Темно-синего прусского (*франц.*)

вел все безотчетные расходы по выдаче наград состоявшим на пайке губернским и уездным чиновникам.

К орудованию всякими подобного щекотливого свойства делами у него была особенная способность, которую Ольга Федотовна, может быть, не совсем неосновательно, считала врожденною.

– Что же, – говорила она, – отчего от него, бывало, какой председатель или вице-губернатор даров не возьмет? Всякий возьмет. Маленьким, тем, бывало, что нужно малые дары, управитель дает, а к старшим с большими дарами или с средними Патрикей едет, и от других будто не брали, а от него всегда брали, потому что повадку такую имел, что внушал доверие: глядел в глаза верно и ласково, улыбался улыбкой исподтихонька, одними устами поведет и опять сведет; слушать станет все это степенно, а в ответ молвит, так его слову никто не усомнится поверить. Все тайны и знал зато.

Жил Патрикей со своим семейством во флигеле, состоявшем под одною кровлей со ткацкими; а в семье у него были только жена да сын. Жена у него была такая смиренная, что ее даже никто не знал: она как будто была поражена величию мужа и «шла в тених». Всю жизнь свою она употребила на ежедневную стирку и глажение его белых галстуков и жилетов. У них был сын Николай, которого бабушка застала уже по пятнадцатому году писарем в конторе. Она его немедленно взяла оттуда и велела Патрикею отдать в училище, откуда он потом поступил в архитектурные классы и был хорошим архитектором и очень богатым человеком, с которым некто из рода нашего впоследствии вступил в соотношения, с моей точки зрения не совсем желанные. Но это все придет в свое время, а теперь я упоминаю об этом Николае Патрикеиче для того, чтобы рассказать оригинальный и смешной случай, сопровождавший выход его в *благородные*, причем Патрикей «оказал дикость», характеризующую его лучше всякого пространного описания.

Когда родоначальник известного ныне богатого дома, Николай Патрикеевич Сударичев, получив звание архитектора, приехал повидаться к отцу, бабушка, разумеется, пожелала, чтобы «Николашу» ей представили, и, обласкав его, она подарила ему часы, сто рублей «на пару платья» и – о ужас! – велела ему прийти к столу с нею обедать... Патрикей Семеныч нашел это ни с чем не сообразным, возмутительным и просто невозможным. Как, он, его сын, «Николашка», будет сидеть за одним столом с княгиней!.. За тем самым столом, за которым сам он, Патрикей Семеныч, так упорно присвоил себе право стоять и обходить гостей с бутылкою мадеры... И, стало быть, теперь он и к сыну, к «Николашке», должен будет подойти с обернутою салфеткою бутылкой вина и спросить: «Прикажете мадеры?» Нет, это... это было что-то такое, что помutilo все понятия Патрикея и лишило его всех средств, как сообразить в этом случае свое положение. Чем он больше это обдумывал, тем больше несообразности видел в этом странном поступке княгини, и, не смея сердиться на нее, он дал волю своему гневу против сына: как он смел, молокосос, «не отпроситься». Удалясь сам в зал, Патрикей сделал подсыл за сыном в ту комнату, где тот сидел у княгини, и приготовился просто увести его куда-нибудь из покоев и скрыть на время обеда, а потом ввечеру повиниться во всем этом княгине. Но, к неожиданной досаде Патрикея, бабушка поняла его маневр и, выйдя сама к нему, сказала:

– Послушай, Патрикей Семеныч, как тебе не стыдно.

И Патрикей Семеныч понял это и смирился до того, что готов был видеть «Николашку» за столом, но бабушка приняла против этого свои меры и тут же дала ему какое-то поручение, за которым он не мог присутствовать при обеде. Но Патрикей исполнил это поручение скорее, чем княгиня ожидала, и в половине обеда явился за бабушкиным стулом: он хотел показать, что он из преданности даже и это снести может. И вот в потребное время он взял в руку бутылку мадеры и пошел вокруг, нагибаясь к каждому гостю с вопросом: «Прикажете?», но, дойдя до сына и приклонясь к нему, он не выдержал и, вместо «прикажете вина», простонал:

– Пошел вон! – и с этим, выпустив бутылку из рук, сам покачнулся и упал на руки подхватившего его сына.

Всем, я думаю, этот обед был невкусен, а особенно бедному Николаю, который теперь страшно бы рассердился, если б ему это напомнили.

Была сконфужена этим и сама бабушка, и даже до того сконфужена, что, узнав, что с Патрикеем был обморок и ему цирюльник Иван открыл кровь, она сама пошла к нему во флигель и извинялась пред ним.

Неизвестно, как именно она выражала ему свои извинения, но слова ее подействовали, и Патрикей после этого разговора просиял и утешился. Но, однако, он был за свою слабость наказан: сына его с этих пор за стол не сажали, но зато сам Патрикей, подавая бабушке ее утренний кофе, всегда получал из ее рук налитую чашку и выпивал ее сидя на стуле перед самою княгиней. В этом случае он мог доставлять себе только одно облегчение, что *садился у самой двери*.

Страсти у Патрикея были только две, и обе благородные: он любил охоту с ружьем и музыку. Для охоты он всегда держал пуделей, которых сам дрессировал, а ради любви к музыке имел скрипку, на которой в течение довольно многих лет, придя вечером домой, обыкновенно около часа играл что-то такое у себя под окном, но что за вещи такие он разыгрывал – этого никто разобрать не мог. Но охота ему не изменяла, а музыку он вдруг оставил по одному странному случаю: у бабушки часто гащивал, а в последнее время и совсем проживал, один преоригинальный бедный, рыжий и тощий дворянин Дормидонт Рогожин, имя которого было переделано бабушкой в Дон-Кихот Рогожин. Человек этот, которому принадлежит своя весьма симпатичная роль в нашей семейной истории, по словам бабушки, был «гол, как турецкий святой, а в душе рыцарь». Но Патрикея он оторвал от музыки не своим рыцарством, а тем, что, однажды подслушав его ночную игру на скрипке, сказал:

– Чего пиликаешь? Разве можно так скрипеть, когда теперь гудут, несясь в пространстве мировом, планеты?

Патрикей в этом сначала ничего не понял, но зато когда Дон-Кихот Рогожин нарисовал ему значки планет и, указав орбиты их движения, сказал:

– Ведь, понимаешь, каждая должна давать свой тон: вот эта меньшая, она тоненько свистит, а эта вот здоровая жужжит, как бомба, а наша тут землишка и себе альтом играет...

Патрикей не стал далее дослушивать, а обернул свою скрипку и смычок куском старой кисеи и с той поры их уже не разворачивал; время, которое он прежде употреблял на игру на скрипке, теперь он простаивал у того же окна, но только лишь смотрел на небо и старался вообразить себе ту гармонию, на которую намекнул ему рыжий дворянин Дон-Кихот Рогожин.

Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь Патрикей на поприще дипломатии или науки, но я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семеныч всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием: быть верным слугой своей великодушной княгине.

– Ее раб, – говорил он, – и ее рабом я умру.

И он так и сделал.

В этом был его *point d'honneur*,⁴ и даже более: он чувствовал потребность быть ей предан без меры.

Я знаю, что это многим может показаться глупым или по меньшей мере странным и непонятным, но что делать? *Chaque baron a sa fantaisie*,⁵ а фантазия Патрикея была та, что он

⁴ Чувство долга, чести (франц.)

⁵ У каждого барона своя фантазия (франц. поговорка)

и в дряхлой старости своей, схоронив княгиню Варвару Никаноровну, не поехал в Петербург к своему разбогатевшему сыну, а оставался вольным крепостным после освобождения и жил при особе дяди князя Якова. Будучи уже очень стар, он был не в силах трудиться, но ходил по дому и постоянно кропотался на новых слуг да содержал в порядке старые чубуки и трубки, из которых никто не курил и которые для того еще и оставались в доме, чтоб у старого Патрикея было что-нибудь на руках.

Это был чтитель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини.

Глава четырнадцатая

Назвав княгиню *влиятельною* и *пышною*, я считаю необходимым показать, в чем проявлялась ее пышность и каково было ее влияние на общество людей дворянского круга, а также наметить, чем она приобрела это влияние в то время, в котором влиятельность неофициальному лицу доставалась отнюдь не легче, чем нынче, когда ее при всех льготных положениях никто более не имеет.

Надеюсь, это будет иметь здесь свое место и даже некоторый интерес.

Говоря нынешним книжным языком, я, может быть, всего удачнее выразилась бы, сказав, что бабушка ни одной из своих целей не преследовала по особому, вдаль рассчитанному плану, а достижение их пришло ей в руки *органически*, самым простым и самым правильным, но совершенно незаметным образом, как бы само собою.

Неожиданно овдовев, бабушка, как можно было видеть из первых страниц моих записок, не поехала искать рассеяния, как бы сделала это современная дама, а она тотчас же занялась приведением в порядок своего хозяйства, что было и весьма естественно и совершенно необходимо, потому что, пока княгиня с князем жили в Петербурге, в деревне многое шло не так, как нужно. Теперь она, оставшись одинокою, озаботилась всесторонним поднятием уровня своих экономических дел и начала это с самой *живой силы* крепостного права, то есть с крестьян.

Нынче очень многие думают, что при крепостном праве почти совсем не нужно было иметь умения хорошо вести свои дела, как будто и тогда у многих и очень многих дела не были в таком отчаянно дурном положении, что умные люди уже тогда предвидели в недалеком будущем неизбежное «захудание» родового поместного дворянства. Это зависело, конечно, от разных причин, между которыми, однако, самое главное место занимало неумение понимать своей пользы иначе, как в связи с пользою всеобщею, и прежде всего с материальным и нравственным благосостоянием крестьян.

Глядя на вещи практически и просто, бабушка не отделяла нравственность от религии. Будучи сама религиозна, она человека без религии считала ни во что.

– Таковой, – по ее словам, – сколь бы умен ни был, а положиться на него нельзя, потому что у него смысл жизни потерян.

Этого для княгини было довольно, потому что у самой у нее *смысл жизни* был развит с удивительною последовательностью. Сама она строго содержала уставы православной церкви, но при требовании от человека религии отнюдь не ставила необходимым условием исключительного предпочтения ее веры пред всеми другими. Совсем нет... она не скрывала, что «уважает всякую *добрую* религию».

Княгиня не только не боялась свободомыслия в делах веры и совести, но даже любила откровенную духовную беседу с умными людьми и рассуждала смело. Владея чуткостью религиозного смысла, она имела истинное дерзновение веры и смотрела на противоречия ей без всякого страха. Она как будто даже считала их полезными.

– Если дерево не будет колеблемо, – говорила она, – то оно крепких корней не пустит, в затишье деревья слабокоренны.

Но я не хотела бы тоже, чтобы кто-нибудь подумал, что бабушка была только деисткою и индифферентною в делах веры. Опять нет: повторяю, княгиня была искреннейшая почитательница родного православия; не числилась только в нем, а крепко его содержала. Она соблюдала посты, ходила в церковь; твердо знала обиход и любила в службе стройность и благолепие; взыскивала, чтобы попы в алтаре громко не сморкались и не обтирали бород аналойными полотенцами; дьяконы чтобы не ревели, а дьячки не частили в чтении кафизм и особенно шестопсалмия, которое бабушка знала наизусть.

С этой духовной стороны она и начала свое вдовье господарство. Первым ее делом было потребовать из церквей исповедные росписи и сличить, кто из крестьян ходит и кто не ходит в церковь? От неходящих, которые принадлежали к расколу, она потребовала только чтоб они ей откровенно сознались, и приказала, чтобы их причет не смущал и не неволил к требам. Она о них говорила:

– Пусть где хотят молятся: бог один, и длиннее земли мера его.

Церковных же своих крестьян княгиня сама разделила по седмицам, чтобы каждый мог свободно говеть, не останавливая работ; следила, чтоб из числа их не было совращений – в чем, впрочем, всегда менее винила самих совращающихся, чем духовенство. О духовенстве она, по собственным ее словам, *много скорбела*, говоря, что «они ленивы, алчны и к делу своему небрежны, а в Писании неискусны».

Состязаться с княгинею, в чем бы то ни было касающемся церковных уставов или обихода, священники ее сёл не дерзали; она была для них все: и ктитор, и консистория, и владыка, и уже у нее священник прижать мужичка при браке какую-нибудь натяжкой в степени родства не помышлял.

«Владыка», при малейшем сомнении, сама бралась за Кормчую и, рассмотрев дело, решала его так, что оставалось только исполнять, потому что решение всегда было правильно.

В том же самом духе ведены ею были и все другие отрасли ее обширного хозяйства. Бабушка в попечительных заботах о благе крестьян хотела знать все, что до них касается, и достигла этого тем, что жила совершенно доступною для каждого. Все люди без исключения могли приходить к бабушке со всякими мелочами. Десятник не пускал мужика на ярмарку продать овцу и купить лык, соли или дегтю, и мужик, если он считал себя напрасно задержанным, сейчас шел с жалобою к княгине. Она к нему непременно выходила, терпеливо его выслушивала и решала – прав он или неправ. В первом случае мужик получал удовлетворение, а в противном – брался на замечание и в случае повторения кляузничества лишался в течение определенного времени права являться на глаза княгине. Такие опальные, видя себя на все время опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливого гнева Варвары Никаноровны и страшились вперед навлекать его на себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.